

И. МИХАЙЛОВСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*Статьи
о русской
литературе
XIX-начала XX века*



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1989

ББК 83.3 РІ
М 69

Составление, вступительная статья и комментарии
Б АВЕРИНА

Оформление художника
А. А. ВЛАСОВА

М $\frac{4603010101-056}{028(01)-89}$ 223-88

ISBN 5-280-00391-3

© Состав. вступительная статья,
комментарии. Издательство «Ху-
дожественная литература», 1989 г.



ДЕСНИЦА И ШУЙЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО

I

Есть два типа социологических исследований. Одни исследователи принимают за точку отправления судьбы общества или цивилизации, сводят задачу науки к познанию существующего и не могут или не желают дать руководящую нить для практики. Другие отправляются от судеб личности, полагая, что общество и цивилизация сами по себе цены не имеют, если не служат удовлетворению потребности личности; далее эти исследователи думают, что наука обязана дать практике нужные указания и изучать не только существующее, а и желательное. Который же из этих двух типов социологических исследований одобряется и который отвергается гр. Толстым?

Изучив сочинения этого замечательного писателя со всем тщанием, на какое я способен, я отвечаю: не знаю. И это не потому, что он, должно быть из боязни модного слова, несколько презирает «социологию». Можно всю жизнь говорить прозой, даже не зная слова «проза». Не важно, нравится кому-нибудь или нет слово «социология». Важно то, что всякий изучающий какое-нибудь общественное явление необходимо держится одного из двух поименованных типов социологического исследования. Надо держаться которого-нибудь одного, потому что они логически исключают друг друга. Логически — да, но фактически они могут уживаться рядом, и в таком случае шуйца не будет знать, что делает десница, и наоборот. Шуйца и десница гр. Толстого находятся именно в таких взаимных отношениях. Поэтому я и отвечаю на свой вопрос: не знаю. Не знаю потому, что из сочинений гр. Толстого можно извлечь очень резкие суждения в пользу обоих, логически исключających друг друга типов исследования.

Много лет тому назад гр. Толстой занялся педагогиею, и занялся так, как у нас очень редко кто занимается своим делом. Он не только не принял на веру какой бы то ни было готовой теории образования и воспитания, но, так сказать, изрыл всю область педагогики вопросами. Это зачем? какие основания такого-то явления? какая цель такого-то?— вот с чем подходил гр. Толстой и к самой сути педагогики, и к разным ее подробностям. Делал он это с истинно замечательною смелостью. Смелость бывает разного рода. Есть смелость дикарей, подбигающих к самым жерлам направленных на них пушек, чтобы заткнуть их своими шляпами: это — смелость невежд, не имеющих понятия о трудностях предпринимаемого ими дела. Есть смелость Угрюм-Бурчеевых, смелость мраколюбцев, почерпаемая в беззаветной ненависти к свету. Есть смелость нравственно пустопорожних людей, готовых идти в любой поход без всякого умственного и нравственного багажа, без знаний и убеждений и не рассчитывающих на победу, но и в поражении не видящих чего-нибудь печального или позорного. Есть смелость отчаяния, когда человек сознает, что дело его проиграно, и бросается в самый пыл битвы, чтобы погибнуть. Есть смелость бретеров, жаждущих борьбы для процесса борьбы. Есть, наконец, смелость людей, глубоко преданных своему делу и верящих, что оно не сегодня-завтра восторжествует, что оно должно восторжествовать. Ввиду идеала, который им так ясен и близок, им не приходится гнуться перед господствующими мнениями, не приходится в оставленном ими храме видеть все-таки храм и в низверженном ими внутри себя кумире все-таки бога. Педагогические воззрения гр. Толстого — налицо (они собраны в IV томе его сочинений), и всякий непредубежденный человек должен признать, что смелость его была последнего рода. Он, например, открыто восставал против университетского образования в такое время, когда общество ценило его очень высоко; но восставал, надо заметить, совсем не с точки зрения Магницкого, ныне у московских ученых опять получающей вес и значение. Он отрицал университеты ' не потому, что боялся света и свободы, и не потому, что желал какой-нибудь монополии высшего образования, предоставления его исключительно какому-нибудь одному классу общества. Совсем напротив, он находил, что университетское образование *не* свободно. Далее,

он, например, говоря собственно о народных училищах, самым серьезным образом повторял вопрос знаменитой г-жи Простаковой: зачем нужна география? Тут двойная смелость. Смело задать этот вопрос, но еще смелее указать, что он был уже задан одним из наиболее осмеянных литературных типов и стал даже некоторой притчей во языцех. Я убежден, что ни один самый завзятый мраколюбец, даже полумифический Асоченский², это сделать не посмеет, а посмеет только человек свободного и пытливого ума, вложивший свой особенный смысл в вопрос матери Митрофанушки. Только человек, поднятый знанием дела и любовью к нему на известную высоту, осмелится придать некоторое значение вопросу глупой Простаковой и тут же рядом скептически взглянуть на какое-нибудь изречение весьма ученого и даже умного мужа. Но понятное дело, что такая смелость и свобода отношений к изучаемому предмету не могут прийтись всем по плечу. Всегда найдутся люди, которые, гоняясь за дешевыми лаврами, высыпят целых три короба либеральных, но не идущих к делу возражений в таком роде: а! так, значит, вы солидарны с г-жой Простаковой? Поздравляю! Затем начинается победоносное нашествие на г-жу Простакову, которое оканчивается, разумеется, победой, а победа над глупой, грубой и необразованной г-жой Простаковой убеждает возражателей и кое-кого из читателей, что они необыкновенно умные и высокообразованные люди. Нет поэтому ничего удивительного в том, что воззрения, высказанные гр. Толстым самым резким, определенным образом, но с подробным мотивированием в журнале «Ясная Поляна», были встречены неодобрительно. Даже г. Страхов, которого трудно представить рядом с гр. Толстым иначе, как в коленопреклоненной позе, даже и тот хотя и погладил его по головке, но в значительной степени против шерсти³. Большинство видело в «яснополянских» теориях, сомнениях и вопросах только мистический ультрапатриотизм и славянофильство, то есть то именно, что и ныне валят господу педагога на гр. Толстого, как шишки на бедного Макара.

Из критических статей, вызванных педагогической ересью «Ясной Поляны», для нас особенно любопытна статья г. Маркова⁴, появившаяся в «Русском вестнике». Любопытна она, впрочем, только потому, что гр. Толстой ответил на нее замечательной статьей

«Прогресс и определение образования» (Сочинения, т. IV, 171—215). Статья г. Маркова мне только и известна по ответу гр. Толстого, я не счел нужным ее разыскивать.

Репутация гр. Толстого двойственна: как из ряду вон выходящего беллетриста и как плохого мыслителя. Эта репутация обратилась уже в какую-то аксиому, не требующую никаких доказательств. Только силой непрокритикованного предания и можно объяснить, например, такой факт. В Московском обществе любителей российской словесности кто-то читал отрывок из не напечатанной еще тогда второй части «Анны Карениной»⁵. «С.-Петербургским ведомостям» немедленно пишут (телеграфировать бы надо!), что отрывок изумителен, превосходит, велик и проч. И в подтверждение приводится такая черта: когда Анна Каренина, уже пораженная стрелой Амура, возвращается в Петербург и встречается с мужем, то ей кажется, будто у него выросли уши! Корреспондент так и ставит восклицательный знак, выражая тем свое изумление перед психологической глубиной и эстетической силой этой подробности. Бывают люди, репутация которых как остроумцев до такой степени установилась, что им стоит только поздравить именинника, разинуть рот, мигнуть, попросить стакан чаю и т. п., чтобы все присутствующие пришли в необычайно веселое настроение. Так-то вот и с гр. Толстым. А между тем, может быть, тот же самый корреспондент «С.-Петербургских ведомостей» считает себя вправе смотреть на педагогические теории гр. Толстого сверху вниз. Это очень возможно, во-первых, потому, что этому соответствует утвердившаяся репутация гр. Толстого, а во-вторых, потому, что холопское унижение стоит всегда рядом с холопской заносчивостью. Я не знаю, придется ли мне говорить о гр. Толстом как беллетристе. Вероятно, придется. Здесь замечу только следующее. Говоря об нем как о первоклассном художнике, обыкновенно подразумевают не только его творческую силу, но и язык, сильный, точный, сжатый, выразительный и проч. Вот и г. Бунаков, в письме в редакцию «Семьи и школы» (1874, № 10), пишет, что напечатанная в «Отечественных записках» статья гр. Толстого есть сплошная нелепость⁶ и «ложь, написанная увлекательно, остроумно и таким прекрасным языком, каким умеет писать один только автор „Войны и мира“». Тут сказывается все та же

двойственная репутация гр. Толстого, которая, однако, как и большинство ходячих репутаций, далеко не вполне основательна. Читатель, надеюсь, сейчас убедится, что первая же статья гр. Толстого, на которую я обращаю его внимание — «Прогресс и определение образования», отличается, напротив, редкою трезвостью, ясностью и силою мысли и вместе с тем языком крайне неточным, неправильным, а подчас и совершенно неуклюжим.

Гр. Толстой дал следующее определение: «Образование есть деятельность человека, имеющая своим основанием потребность к равенству и неизменный закон движения вперед образования». Это сказано до такой степени неточно, неправильно, неуклюже, до такой степени не по-русски, что определение выходит крайне плохое. Однако тут виновата не мысль гр. Толстого, заслуживающая, напротив, большого внимания, а только его неумение выразить свою мысль. Занявшись практически педагогией, гр. Толстой пожелал найти такое определение образования, которое указывало бы его цель и, следовательно, момент прекращения деятельности образовывающего и образовывающегося; определение это должно было дать критерий педагогики, то есть некоторую истину, с высоты которой можно бы было решить вопрос о том, чему и как следует учить. Гр. Толстой рассуждает так. В обществе действует несколько причин, побуждающих одних образовывать, а других образовываться. Возьмем сначала деятельность образовывающегося, ученика. Он может учиться для того, чтобы избежать наказания, — это, по определению гр. Толстого, «учение на основании послушания»; для получения награды или для того, чтобы быть лучше других, — «учение на основании самолюбия»; для получения выгодного положения в свете — «учение на основании материальных выгод и честолюбия». Гр. Толстой все тем же неточным и неуклюжим языком утверждает, что «на основании этих трех разрядов строились и строятся различные педагогические школы: протестантские — на послушании, католические, иезуитские — на основании соревнования и самолюбия, наши российские — на основании материальных выгод, гражданских преимуществ и честолюбия». Могут ли быть эти основания введены в науку? Нет, отвечает гр. Толстой, главным образом по двум причинам: 1) «при таких основаниях нет общего критериума педа-

гогики — и богослов, и естественник одновременно считают свои школы непогрешительными, а не свои школы положительно вредными»; 2) потому, что при системе образования, построенной на одном из перечисленных начал, «приобретаются привычки послушания, раздраженное самолюбие и материальные выгоды; но это, конечно, не суть прямые цели образования». Деятельность образовывающего также управляется различными мотивами, из которых главные: «желание сделать людей такими, которые были бы для нас полезны (помещики, отдававшие дворовых в ученье и в музыканты, правительство, приготовляющее для себя офицеров, чиновников и инженеров)»; послушание и материальные выгоды; самолюбие; «желание сделать других людей участниками в своих интересах, передать им свои убеждения и с этою целью передать им свои знания». Только этот последний мотив, только побуждение учителя уравнивать с собой знания ученика и соответственное побуждение ученика сравняться в знании с учителем — гр. Толстой признает достойным лечь во главу угла науки педагогики. Как только образовывающий передал свои знания образовываемому — цель образования на данном пункте достигнута: ученик может идти дальше, искать новых учителей, но учитель свое дело сделал, то есть прямое, непосредственное дело образования. Но равенство знаний может быть достигнуто не на низшей, а только на высшей ступени знания «по той простой причине», что ребенок может узнать то, что я знаю, а я не могу забыть того, что я знаю; и еще потому, что мне может быть известен образ мысли прошедших поколений, а прошедшим поколениям не может быть известен мой образ мысли». Это-то и есть «неизменный закон движения вперед образования». Вот что хотел сказать гр. Толстой своим неуклюжим определением образования.

Я желал бы выяснить шуйцу и десницу гр. Толстого по возможности независимо от педагогики и затем уже приложить найденное к спору гр. Толстого с педагогами. Прием этот кажется мне потому удобным, что мы сразу получим, таким образом, руководящую нить, и нам не нужно будет долго засиживаться на мелочах и частностях текущей педагогической распри, которые выяснены уже достаточно. Тем не менее обойти на этот раз педагогику совсем — не представляется никакой возможности. Я должен привести теперь же по крайней

мере один вывод, который делает гр. Толстой из своего определения образования, собственно для того, чтобы показать, что определение это есть не бесплодная экскурсия в область отвлеченной мысли. На основании своего определения образования гр. Толстой считает возможным указать следующую цель науки педагогики: она должна изучать условия, благоприятствующие и препятствующие совпадению стремлений образовывающих и образовываемых в одной общей цели. Этого-то совпадения, по мнению гр. Толстого, и нет в деле народного образования. Народ хочет учиться, правительства и частные лица хотят его учить, но стремления эти не имеют до сих пор общей точки, не совпадают. Отсюда все трагикомические подробности народного образования. Для устранения их нужно одно — полная свобода для образовываемых выбора программы учения. К этому последнему результату приводят гр. Толстого и некоторые другие соображения. Но для нас пока достаточно сказанного.

Замечательно, что упомянутая статья «Русского вестника» (г. Маркова) направлена, как можно судить по цитатам гр. Толстого, не столько против приведенного определения образования и выводов из него, сколько против самой задачи гр. Толстого. Г-н Марков считает нелепыми самые вопросы о цели и критерии педагогики. Он пишет: «„Ясную Поляну“ смущает то обстоятельство, что в различные времена люди учат различному и различно. Схоластики одному, Лютер другому, Руссо по-своему, Песталоцци опять по-своему. Она видит в этом невозможность установить критерий педагогики и на этом основании отвергает педагогику. А мне кажется, она сама указала на этот необходимый критерий, приводя упомянутые примеры. Критерий — в том, чтобы учить, соображаясь с потребностями времени. Он прост и в совершенном согласии с историей и логикой. Лютер оттого только и мог быть учителем целого столетия, что сам был созданием своего века, думал его мыслию и действовал по его вкусу. Иначе его огромное влияние было бы или невозможно, или сверхъестественно; не походи он на своих современников, он бы исчез бесплодно, как непонятное, никому не нужное явление — пришелец среди народа, которого даже языка он не понимает. То же и с Руссо и всяким другим. Руссо формулировал в своих теориях накипевшую ненависть своего века к формализму и искус-

ственности, его жажду простых, сердечных отношений. Это была неизбежная реакция против версальского склада жизни⁷, и если бы только один Руссо чувствовал ее — не явился бы век романтизма, не явились бы универсальные замыслы переродить человечество, декларации прав⁸, Карлы Мооры⁹ и все подобное... Мне непонятно, чего бы хотел гр. Толстой от педагогики. Он все о крайней цели, о незыблемом критериуме хлопочет. Нет этих — так, по его мнению, не нужно никаких. От чего же не вспомнит он о жизни отдельного человека, о своей собственной? Ведь он, конечно, не знает крайней цели своего существования, не знает общего философского критериума для деятельности всех периодов своей жизни. А ведь живет же он и действует; и оттого только живет и действует, что в детстве имел одну цель и один критериум, в молодости другие, теперь опять новые, и так далее».

Вот образец социологического исследования первого типа. Здесь налицо все признаки этого рода исследований. Г-н Марков принимает за точку отправления судьбы общества или цивилизации и предлагает учить и учиться не тому, что тот или другой учитель или ученик считает нужным, полезным, избранным, а тому, что «соответствует потребностям времени», то есть потребностям известного исторического момента. Вместе с тем г. Марков сводит задачу науки к познанию существующего, так как отвергает надобность и возможность для педагога подняться выше существующего порядка вещей или вообще как-нибудь от него отклониться. Тем самым, наконец, г. Марков отказывается дать руководящую нить практике. Сказать: учите, соображаясь с потребностями времени, — значит ничего не сказать, потому что потребности времени остаются невыясненными. Я, впрочем, не намерен утомлять читателя собственным своим разбором мнений г. Маркова, во-первых, потому, что не в них совсем дело, а во-вторых, потому, что я не сумел бы сделать этот разбор лучше гр. Толстого. В своем ответе г. Маркову он стоит на истинно философской высоте, и если бы не портили дела некоторые частности, почти исключительно зависящие от неправильности и неточности выражений, статья «Прогресс и определение образования» была бы безукоризненна во всех отношениях.

«Со времен Гегеля и знаменитого афоризма: «что исторично, то разумно», — говорит гр. Толстой, — в ли-

тературных и изустных спорах, в особенности у нас, царствует один весьма странный умственный фокус, называющийся историческое воззрение. Вы говорите, например, что человек имеет право быть свободным, судиться на основании только тех законов, которые он сам признает справедливыми, а историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известный исторический момент, обуславливающий известное историческое законодательство и историческое отношение к нему народа.

Вы говорите, что вы верите в бога,— историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известные религиозные воззрения и отношения к ним человечества. Вы говорите, что «Илиада» есть величайшее эпическое произведение,— историческое воззрение отвечает, что «Илиада» есть только выражение исторического сознания народа в известный исторический момент. *На этом основании историческое воззрение не только не спорит с вами о том, необходима ли свобода для человека, о том, есть или нет бога, о том, хороша или не хороша Илиада, не только ничего не делает для достижения той свободы, которой вы желаете, для убеждения или разубеждения вас в существовании бога или в красоте Илиады, а только указывает вам то место, которое наша внутренняя потребность, любовь к правде или красоте занимает в истории: оно только сознает, но сознает не путем непосредственного сознания, а путем исторических умозаключений.* Скажите, что вы любите или верите во что-нибудь,— историческое воззрение говорит: любите и верьте, и ваша любовь и вера найдут себе место в нашем историческом воззрении. Пройдут века, и мы найдем то место, которое вы будете занимать в истории; но вперед знайте, что то, что вы любите, не безусловно прекрасно, и то, во что вы верите, не безусловно справедливо; но забавляйтесь, дети,— ваша любовь и вера найдут себе место и приложение. К какому хотите понятию стоит только приложить слово «историческое»,— и понятие это теряет свое жизненное, действительное значение и получает только искусственное и неплодотворное значение в каком-то искусственно составленном историческом мирозерцании».

Вовсе не надо быть педантом, чтобы с некоторым недоумением остановиться перед этими невозможными «не только, а только», «только сознает, но сознает не

путем сознания» и т. п., испещряющими речь знаменитого русского писателя. Но бог с ним, с языком гр. Толстого. Я упоминаю об нем только для того, чтобы лишний раз обратить внимание читателя на неосновательность ходячих репутаций. Больше я этой скучной материи касаться не буду. Читатель предупрежден и не станет строить какие-либо выводы на отдельных выражениях гр. Толстого, которые своею грамматическою неуклюжестью и логическою неправильностью слишком часто только затемняют, даже извращают мысль автора. Будем следить только за мыслью гр. Толстого. Она этого стоит, по крайней мере с моей точки зрения, с точки зрения профана, потому что из приведенных неуклюжих строк так и бьет тот дух жизни, который нам, профанам, дороже всего. Очевидно, что суть протеста гр. Толстого против того, что он называет историческим воззрением, сосредоточивается в подчеркнутых мною словах. Значения исторических условий как факторов, определяющих деятельность личности, гр. Толстой во все не отрицает. Он очень хорошо знает, что «Илиада», известные понятия о божестве, известный общественный строй — суть продукты исторических условий. Но он хочет не только знать, какое место в истории занимают его идеалы: он хочет жить ими и, следовательно, знать их настоящую, теперешнюю цену, независимо от истории. В другом месте гр. Толстой говорит весьма определительно: «Статья „Русского вестника" думает, что школы не могут и не должны быть изъяты из-под исторических условий. Мы думаем, что эти слова не имеют смысла, во-первых, потому, что *изъять из-под исторических условий нельзя ничего ни на деле, ни даже в мыслях.* Во-вторых, потому, что ежели открытие законов, на которых строилась и должна строиться школа, есть, по мнению г. Маркова, изъятие из-под исторических условий, то мы полагаем, что *наша мысль, открывшая известные законы, действует тоже в исторических условиях,* но что нужно опровергнуть или признать самую мысль путем мысли для того, чтобы разъяснить ее, а не отвечать на нее тою истиною, что мы живем в исторических условиях». Из этого видно, что г. Марков совершенно понапрасну рассыпал цветы своего красноречия. Гр. Толстому очень хорошо известна сила исторических условий. Она ему известна даже лучше, чем г. Маркову, или по крайней мере соображения о ней проводятся гр. Толстым дальше и последовательнее.

Предполагая даже, что потребности времени суть нечто для всех ясное и определенное, я, с точки зрения все той же силы исторических условий, имею полное право восставать против этих потребностей времени, признавать их ложными, дрянными, желать их изменения, делать соответственные усилия и проч. Потому что если во мне зародились известные сомнения и желания, так ведь они не с неба свалились, они тоже определены историческими условиями. И если мои сомнения и желания признаются кем-нибудь неосновательными, то оппонент мой должен оставить исторические условия в покое и представить какие-нибудь иные аргументы «от разума» или «от опыта». Историческими условиями можно оправдать всякую нелепость и всякую мерзость, для чего нет никакой надобности в длинных рассуждениях, к которым любят прибегать в подобных случаях: довольно указать на существование нелепости или мерзости — тем самым они уже оправданы. Но это будет, собственно говоря, не оправдание, а празднословие, очень удобно опрокидываемое несколькими словами, теми самыми словами, которые сказал гр. Толстой: человек, стремящийся стереть с лица земли существующие нелепости и мерзости, есть тоже продукт истории. Против этого аргумента возражений нет. В своем ответе г. Маркову гр. Толстой поставил и разрешил (я не говорю, что это не было сделано другими, задолго до гр. Толстого) теоретический вопрос высочайшей важности. Больших усилий стоило людям убедиться, что нет действий без причины, что и их людские действия, мысли, желания, чувства возникают в конце известного ряда явлений, сменяющих друг друга с физической необходимостью. Убеждение это завоевывалось шаг за шагом, пробивая себе дорогу сквозь целый лес предрассудков. И только в сравнительно недавнее время оно восторжествовало благодаря соединенным усилиям статистиков, историков, психологов, физиологов, философов. Но, к сожалению, мысль о «законосообразности» человеческих действий, не успев даже наметить весь круг своих результатов, уже успела заразиться двумя исконными наследственными недугами человечества — фатализмом и оптимизмом. Удивляться надо в самом деле, какие это цепкие и прилипчивые болезни. Трудно даже найти в истории мысли теорию, которая не была бы хоть на короткое время покрыта злокачественной и отвратительной сыпью оптимизма и фатализма.

А идея необходимости или законосообразности человеческих действий находится в условиях, особенно благоприятных для заражения. Фатализм есть учение или взгляд, не допускающий возможности влияния личных усилий на ход событий. Понятное дело, что этому взгляду очень удобно заразить собой теорию необходимости человеческих действий. Каждый из нас, жалких детищ вращающегося во вселенной ничтожного комка грязи, называемого землей, есть нечто вроде шашки, которую сила событий передвигает с одной клетки шахматной доски на другую. Шашка может иметь в ходе игры важное и не важное значение, но она жестоко ошибается, когда думает, что *сама* становится на такую-то клетку и могла бы, если бы захотела, стать на другую. В таком роде рассуждают многие статистики, историки и другие ученые люди не только в теоретической области познания существующего, а и в практической сфере жизни. Нам, профанам, эти рассуждения глубоко противны, мы их не можем переварить. И когда ученые люди говорят нам с презрительно-снисходительным видом: «Что ж делать! наука не может сказать ничего иного», — мы отвечаем: «Что ж делать! эта наука нас не удовлетворяет». Но мы замечаем, что она не удовлетворяет не только нас, а и самих ученых людей. Например, ученые люди говорят и пишут друг другу панегирики. За что? Ведь не пишут же они панегириков камню, падающему на землю сообразно законам тяжести, и траве, начинающей весной зеленеть на лугах. Ученое открытие есть такое же звено известной цепи причинно связанных явлений, как и рост травы и падение камня; оно не может появиться раньше осуществления известных исторических условий, и ученый, сделавший открытие, есть опять-таки не больше как шашка, поставленная ходом игры на определенную клетку. Ученые люди бранят наше невежество и стараются просветить нас. За что бранят и зачем стараются? Одну шашку так же мало резонно бранить, как другой шашке мало резонно стараться. Очевидно, что есть сферы мысли, в которых теория необходимости наших действий, их полнейшей зависимости от данных исторических условий удовлетворяет человеческую природу, но есть и такие, где она равно не удовлетворяет и ученых, и неученых людей, где теория исторических условий на каждом шагу путается в противоречиях и сама себя закалывает. Это — сфера практической мысли.

Задним числом, конечно, можно доказать, что Лютер, например, только потому и мог быть учителем целого столетия, что «сам был созданием своего века, думал его мыслью и действовал по его вкусу». Совершенно справедливо, что, не будь у него многочисленных и многосторонних связей с своим временем и своим народом, он пролетел бы как падучая звезда. Но дело в том, что если бы сам Лютер не верил, что думает *своею собственною* мыслью и действует по *своему собственному* вкусу, то реформацию поднял бы не он, а кто-нибудь другой. Пусть, связанный историческими условиями по рукам и по ногам, Лютер обманывался, думая, что он свободно выбрал себе цель,— этот обман неизбежен в практической деятельности: он есть один из необходимых факторов тех самых исторических условий, незыблемость которых провозглашают фаталисты.

Гордые ученые и вдвое более гордые полуученые люди очень любят восклицать: без обмана! Восклицание это, конечно, очень хорошее и способное собрать вокруг восклицающего толпу людей с разинутым от умиления ртом. Но отчего же гордые ученые и вдвое более гордые полуученые люди не подумают о том, что наиболее разработанные отрасли физической науки допускают иногда заведомый обман и не конфузятся этого? Метафизики говорят: реальный мир есть обман. Наиболее разработанные отрасли физической науки говорят: обман так обман, нам до этого дела нет, мы признаем данный мир существующим, потому что того требуют условия человеческой природы, а может, это и в самом деле обман. Наиболее разработанные отрасли физической науки вводят в свои построения таких гипотетических деятелей, которых себе вполне ясно даже представить нельзя: это — обманы, но наука держится их, потому что в настоящую по крайней мере минуту, ничто, кроме них, не дает возможности ориентироваться в известных рядах фактов. Почему же это науки разработанные не боятся обмана в такой мере, как науки (если только это науки) социальные, в которых кто во что горазд, в которых сколько голов, столько умов, в которых нет почти ничего прочного, установившегося, общепринятого? Да именно оттого, я думаю, что то — науки разработанные, а это — так, что-то вроде наук. Вполне светский человек может себе позволить некоторые отклонения от установившихся в его кругу нравов и обычаев и сделает так, что отклонения

эти не только не будут колоть глаза, но даже усилят основной тон принятого порядка. Неофит, напротив, человек неопытный, не слившийся всем своим существом с известной общественной атмосферой, будет держаться каждой буквы светского кодекса, но именно эти его старания и изобличат в нем человека неопытного и неофита. Так же и с наукой. Давно ли у нас, например, так много толковали о необходимости индуктивного метода и крайней вредности дедуктивного. Между тем как раз в это время истинные ученые, хоть и не очень гордые, с величайшим успехом применяли дедукцию и двигали ею науку исполинскими шагами вперед. Они уже прошли ту ступень развития, на которой индукция признавалась единственным научным методом, и прилагали к делу, смотря по условиям своих задач, то наведение, то вывод. Эти же истинные, хоть и не очень гордые ученые рассуждают так: обман — вещь нехорошая, но если уж в том или другом случае без него по условиям человеческой природы обойтись нельзя, так делать нечего; надо только помнить, что это — обман, введенный в исследование с определенной целью, и что мы имеем право пользоваться им только в определенных случаях и под определенными условиями. Очевидно, что допущенный в науку в таком виде обман даже перестает быть обманом и становится просто орудием науки. А гордые социологи продолжают восклицать: без обмана! Не желая уподобляться Кифе Мокиевичу¹⁰, я не стану рассуждать о том, что было бы, если бы люди действительно перестали обманываться насчет свободы своей деятельности. Но вот что я могу сказать, не боясь быть опрокинутым учеными из ученых: в момент деятельности я сознаю, что ставлю себе цель свободно, совершенно независимо от влияния исторических условий; пусть это — обман, но им движется история; я признаю, что и соседи мои выбирают себе цели жизни свободно; на этом только и держится возможность личной ответственности и нравственного суда, которых нельзя же вычеркнуть из человеческой души. Действительно, их вычеркнуть нельзя, надо признать их существование, а между тем они находятся в противоречии с познанием причинной связи явлений. Приходится осуждать то, что в данную минуту не может не существовать. Как тут быть? Это противоречие известно с очень давних пор, и много умных и глупых, ученых и неученых голов билось над его разрешением. Эти го-

ловы придумали три выхода. Одни, закалая на алтаре познания причинной связи явлений личную ответственность, совесть и нравственный суд, стоят на своем: без обмана! Но это не выход, потому что чувство ответственности, совесть и потребность нравственного суда суть вполне реальные явления психической жизни, допускающие наблюдения и вообще научные приемы исследования; они до такой степени реальны, что сами жрецы познания не чужды им в момент жертвоприношения; они произносят нравственный суд и сознают свое жертвоприношение действием свободным. Другие приносят, напротив, в жертву причинную связь явлений, утверждая, что человек свободен. Если это и выход из затруднения, то, во всяком случае, он не может быть принят наукой, потому что совершенно свободных явлений познавать нельзя, а наука только познает. Третьи, наконец, признавая противоречие между свободой и необходимостью неразрешимым по существу, говорят, что иногда мы должны признавать человеческие действия свободными, а иногда необходимыми.

К числу этих третьих принадлежит и гр. Толстой. На первый взгляд, это решение самое неудовлетворительное, наименее научное, потому что ему недостает единства и последовательности. Но это только на первый взгляд. Вы идете в место, лежащее на запад от вас; по дороге вы натываетесь на пропасть, которую обходите, уклоняясь к северу, потом круто сворачиваете к югу, потому что прямо перед вами непроходимое болото: несмотря на эти отклонения от пути на запад, вы идете единственной верной дорогой, потому что, направляясь по-вороньему, все прямо, вы провалитесь, утонете и вообще не дойдете до цели своей прогулки. Так и единство и последовательность в науке состоят вовсе не в том, чтобы всегда и везде употреблять одни и те же приемы исследования, а в том, чтобы всегда и везде смотреть на вещи так, как того требуют условия научной задачи. Этим достигается не только единство науки, но, что всего важнее, и примирение науки с жизнью. Поставьте только себя в положение гр. Толстого. Он поставил себе жизненную, живую цель, работает для нее, наконец, как ему кажется, достиг ее; узнал, чему и как следует учить. Вдруг является ученый человек, г. Марков, и говорит: каким вы, однако, вздором занимаетесь! разве вы можете придумать какое-нибудь свое собственное решение этого вопроса, независимое от исторических

условий, в которых вы живете? Понятно ли читателю все безобразие этого рипоста¹¹ г. Маркова, хотя в основании его лежит несомненная истина: гр. Толстой, как и всякий другой, не может вылезти из исторических условий. Дело в том, что в словах г. Маркова есть истина, но она пристраивается им совсем не к месту. Это часто бывает, что ученые люди суют несомненные истины не туда, где им нужно быть. Очки — превосходная вещь, но когда мартышка надевала их себе на хвост, она делала большую ошибку. Мы, профаны, считаем своим священным правом, которого у нас отнять никто не может, право нравственного суда над собой и другими, право познания добра и зла, право называть мерзавца мерзавцем. Законосообразность человеческих действий есть великая истина, но она не должна посягать на это право, хотя бы уже потому, что она с ним ничего не поделает. В этой импотенции не к месту пристроенной истины заключается, собственно, комическая сторона ученых набегов на наше право называть мерзавца мерзавцем. Не будь ее, этой комической стороны, можно было бы ужаснуться тому неслыханному насилию над человеческой личностью, которое позволяют себе некоторые ученые люди, стараясь убедить нас, что мерзавец есть только продукт истории и что мы не смеем даже помыслить о деятельности по собственному вкусу, независимо от «исторических условий» и «потребностей времени». Дыба, испанский осел, нюрнбергская железная девица, все ужасы инквизиции и русских застенков были бы милыми игрушками в сравнении с этим насилием, если бы только оно могло когда-нибудь переселиться из области словоизвержения в область живой действительности. Теперь дух насилия выражается только тем, что, как очень неправильно по форме, но очень метко и верно говорит гр. Толстой, «историческое воззрение не только не спорит с вами о том, необходима ли свобода для человека, о том, есть или нет бога, о том, хороша или не хороша Илиада, не только ничего не делает для достижения той свободы, которой вы желаете, для убеждения или разубеждения вас в существовании бога или в красоте Илиады, а только указывает вам то место, которое наша внутренняя потребность, любовь к правде или красоте занимают в истории». Это — несомненное выражение духа насилия. Исторический воззритель, если такое существование возможно, только потому стремится отравить

вам известное наслаждение, что сам он не способен его оценить. Собственные свои цели он преследует так, как будто бы они имели вечную, непреходящую цену. Вон, например, Спенсер сочиняет социологию, которая должна остаться истинною даже в отдаленнейшем мраке будущего, а радикалу и торию говорит: благословляю вас на все ваши глупости, потому что они свое определенное место в истории займут¹²; вы оба врете, но ничего, продолжайте, законами истории предписано вам обоим несколько времени поврать и затем умолкнуть (см. «Изучение социологии»). Ясно, что Спенсер потому только может так относиться к радикалу и торию, что ему совершенно чужды волнующие их интересы, что ему решительно все равно, восторжествует ли который-нибудь из них, и вообще все равно, как пойдут дела, о которых спорят торий и радикал. Когда речь идет о скверных каминных щипцах и неудобных аптекарских склянках, Спенсер совершенно изменяет тон: он не говорит, что скверные щипцы займут свое место в истории, он просто говорит, что щипцы скверны, потому что относится к щипцам и склянкам как живой человек. Величественные запрещения искать чего-нибудь, не помышляя об исторических условиях, и столь же величественные дозволения врать сообразно историческим условиям — суть продукты умственной мертвечины, мертвенного отношения к явлениям.

Итак, значение исторических условий как факторов, определяющих деятельность личности, несомненно, но столь же несомненны право и возможность для личности судить о явлениях жизни без отношения к месту их в истории, а сообразно той внутренней ценности, которую им придает та или другая личность в каждую данную минуту. Это неизбежно вытекает из условий человеческой природы. Противоречие между необходимостью и свободой по существу неразрешимо, и мы должны попеременно опираться то на ту, то на другую. Когда на одну, когда на другую? Гр. Толстой отвечает на этот вопрос в статье «Прогресс и определение образования». Но резче и рельефнее выходит ответ, данный в много осмеянном одними и много расхваленном другими философском приложении к «Воине и миру». Там есть ряд определений, из которых я приведу следующие два: «Действия людей подлежат общим, неизменным законам, выражаемым статистикой. В чем же состоит ответственность человека перед обществом, понятие

о которой вытекает из сознания свободы?— вот вопрос права. Поступки человека вытекают из его прирожденного характера и мотивов, действующих на него. Что такое есть совесть и сознание добра и зла поступков, вытекающих из сознания свободы?— вот вопрос этики» (Сочинения, VIII, 166). В русской литературе мне известна только одна постановка вопроса о необходимости и свободе человеческих действий, совпадающая с постановкою гр. Толстого и не уступающая ей в ясности и категоричности. Она сделана одним из сотрудников «Отечественных записок»¹³ в статье «Г. Кавелин как психолог» («Отечественные записки», 1872, № 11). «Вопрос о произвольности не существует для науки. Психология неизбежно рассуждает, как бы он был решен отрицательно. Логика и этика столь же неизбежно рассуждают, как бы он был решен положительно».

Человек, будучи обязан признать всякое историческое явление законосообразным, имеет, однако, логическое и нравственное право бороться с ним, признавая его пагубным, вредным, безнравственным. Отсюда прямой вывод, что исторический ход событий сам по себе совершенно бессмыслен и, взятый в своей грубой, эмпирической целостности, может оказаться таким смешением добра и зла, что последнее перевесит первое. Гр. Толстой делает этот вывод. Он не только подвергает осмеянию афоризм «что исторично, то разумно», но, кроме того, довольно подробно анализируя ходячее понятие прогресса, приходит к заключению, что исторический путь, которым идет Западная Европа и на который сравнительно недавно вступила Россия, отнюдь не усыпан розами. Гр. Толстой полагает далее, что этот путь развития не есть единственный и что он может и должен быть избегнут Россией. Известно, что совершенно так же смотрят на дело славянофилы и их выродки — «почвенники». При ближайшем, однако, рассмотрении анализа прогресса гр. Толстого оказывается, что он самым существенным образом отличается от славянофильских воззрений. Читатель в этом сейчас убедится.

Покончив с фатализмом, гр. Толстой обращается к оптимизму. Г-н Марков полагал, что искать критерия образования нет никакой надобности, потому что дело и без него очень просто: «каждый век кидает в общую кучу свою горсть, и чем дольше мы живем, тем выше поднимается эта куча, тем выше и мы с ней поднимаемся». Таким образом, все идет к лучшему в сем наилуч-

шем из миров¹⁴, шипов становится все меньше, а розы цветут и благоухают все роскошнее. Гр. Толстой находит, что этот образ кучи, возрастающей и вместе с тем поднимающей нас, далеко не передает истинного смысла истории. Движения истории он не отрицает, но он не согласен признавать верхние, позднейшие слои исторической кучи лучшими только потому, что они — верхние, позднейшие. Он требует для оценки исторических явлений иных, более сложных приемов, к выработке которых приступает весьма оригинальным образом. Именно он задает себе вопрос: кто признает рост исторической кучи, обыкновенно называемый прогрессом, кто признает его благом? «Так называемое общество, незанятые классы, по выражению Бокля». Рассматривая некоторые, наиболее выдающиеся «явления прогресса» (мы условились не придирааться к неточности и неправильности выражений), гр. Толстой приходит к заключению, что они действительно суть благо для «незанятых классов». Например, по телеграфным проволокам «пролетает мысль о том, что возвысилось требование на такой-то предмет торговли и как потому нужно возвысить цену на этот предмет, или мысль о том, что я, русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу, укрепилась нервами, обнимаю моего обожаемого супруга и прошу прислать мне в наискорейшем времени сорок тысяч франков»; сообщаются сведения о «дешевизне или дороговизне сахара или хлопчатой бумаги, о низвержении короля Оттона, о речи, произнесенной Пальмерстоном и Наполеоном III». Из всего этого незанятые классы извлекают огромные выгоды и много удовольствия. Извлекают они их и из книгопечатания, из улучшенных путей сообщения. Но почему же народ, девять десятых всего населения цивилизованных стран, «занятые классы» относятся к благам цивилизации по малой мере равнодушно, а то и прямо враждебно? Потому, отвечает гр. Толстой, что блага цивилизации для народа вовсе не блага, они или проходят совершенно мимо его, или приносят ему больше зла, чем пользы. Г-н Марков ссылается на Маколея. Гр. Толстой утверждает, что из знаменитой 3-й главы первой части истории Маколея¹⁵ можно выудить только следующие, наиболее выдающиеся факты: «1) Народонаселение увеличилось — так что необходима теория Мальтуса¹⁶. 2) Войска не было, теперь оно стало огромно; с флотом — то же самое. 3) Число мелких

землевладельцев уменьшилось. 4) Города стянули к себе большую часть народонаселения. 5) Земля обнажилась от лесов. 6) Заработная плата стала на половину больше, цены же на все увеличились, и удобств в жизни стало меньше. 7) Подать на бедных удесятилась. Газет стало больше, освещение улиц лучше, детей и жен меньше бьют, и английские дамы стали писать без орфографических ошибок». Гр. Толстой убежден, что совокупность этих явлений, их общий характер, несомненно, выгоден для незанятых классов, которые поэтому с своей точки зрения имеют все резоны признавать его благом, но они не имеют права навязывать свое воззрение народу; народ, опять-таки с своей точки зрения, имеет тоже все резоны относиться к перечисленным фактам вполне равнодушно, а отчасти и враждебно. «Интересы общества (под обществом гр. Толстой понимает так называемые образованные классы) и народа всегда бывают противоположны. Чем выгоднее одному, тем невыгоднее другому». Сообразно этому распределяются и понятия «общества» и народа о том или другом историческом явлении в отдельности и об общем направлении истории. Но, спрашивается, неужели мы можем положиться на мнения людей грубых и невежественных, «проводящих жизнь на полотах, в курной избе или за сохой, ковыряющих сами себе лапти и ткущих себе рубахи, никогда не читавших ни одной книги, раз в две недели снимающих с насекомыми рубаху, по солнышку и по петухам узнающих время и не имеющих других потребностей, как лошадиная работа, спанье, еда и пьянство?» Гр. Толстой самым решительным образом становится на сторону грубого, грязного и невежественного народа. «Я полагаю,— говорит он,— что эти люди, называемые дикими, и целые поколения этих диких суть точно такие же люди и точно такое же человечество, как Пальмерстоны, Оттоны, Бонапарты. Я полагаю, что поколения работников носят в себе точно те же человеческие свойства и в особенности свойство искать где лучше, как рыба где глубже, как и поколения лордов, баронов, профессоров, банкиров и т. д. В этой мысли подтверждает и мое личное, без сомнения, малозначащее убеждение, состоящее в том, что в поколениях работников лежит и больше силы и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров, и, главное, подтверждает меня в этой мысли то простое наблюдение, что

работник точно так же саркастически и умно обслуживает барина и смеется над ним за то, что он не знает — что соха, что сволока¹⁷, что гречиха, что крупа; когда сеять овес, когда гречу; как узнать, какой след; как узнать, тельна ли корова или нет? и за то, что барин живет всю жизнь ничего не делая, и т. п. Точно так же, как обсуживает барин работника и подтрунивает над ним за то, что тот говорит „табе“, „сабе“, „фитанец“, „плант“ и т. п., и за то, что он в праздник напивается как животное и не знает, как рассказать дорогу. То же наблюдение поражает меня, когда два человека, разоидясь между собою, совершенно искренно называют друг друга дураками и подлецами. Еще более поражает меня это наблюдение в столкновениях восточных народов с европейцами. Индейцы считают англичан варварами и злодеями, англичане — индейцев; японцы — европейцев; европейцы — японцев; даже самые прогрессивные народы — французы считают немцев тупоголовыми, немцы считают французов безмозглыми. Из всех этих наблюдений я вывожу то умозаключение, что ежели прогрессисты считают народ не имеющим права обсуживать своего благосостояния и народ считает прогрессистов людьми, озабоченными корыстными, личными видами, то из этих противоположных воззрений нельзя вывести справедливости ни той, ни другой стороны. И потому я должен склониться на сторону народа на том основании, что: 1) народа больше, чем общества, и что потому должно предположить, что большая доля правды на стороне народа; 2) и главное потому, что народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлетворять всем своим человеческим потребностям, как-то: трудиться, веселиться, любить, мыслить и творить художественные произведения («Илиада», русские песни). Прогрессисты же не могли бы существовать без народа». В конце концов гр. Толстой объясняет, что «весь интерес истории» заключается для него «не в прогрессе цивилизации, а в прогрессе общего благосостояния. Прогресс же благосостояния,— продолжает он,— по нашим убеждениям, не только не вытекает из прогресса цивилизации, но большею частью противоположен ей. Ежели есть люди, которые думают противное, то это должно быть доказано. Доказательств же этих мы не находим ни в непосредственном наблюдении явлений жизни, ни на страницах историков, философов и публицистов... Эти люди признают без

всякого основания вопрос о тождестве общего благосостояния и цивилизации решенным».

Но, может быть, прогресс, как он выразился в истории Западной Европы, есть нечто фатальное, нечто неизбежно обязательное как для самой Европы в будущем, так и для других стран, стоящих на низших ступенях цивилизации? Из предыдущего уже видно, что гр. Толстой должен был отвечать на этот вопрос отрицательно. Он так и отвечает. Он говорит, что «не считает этого движения неизбежным». Обращаясь к России, он делает несколько беглых замечаний о разнице в условиях ее жизни и жизни Западной Европы. Я приведу только одно из этих замечаний. Упомянув о мнении Маколея, что благосостояние рабочего класса измеряется высотой заработной платы, гр. Толстой спрашивает: «Неужели мы, русские, до такой степени не хотим знать и не знаем положения своего народа, что повторим такое бессмысленное и ложное для нас положение? Неужели не очевидно для каждого русского, что заработная плата для русского простолюдина есть случайность, роскошь, на которой ничего нельзя основывать? Весь народ, каждый русский человек без исключения назовет несомненно богатым степного мужика с старыми одоньями хлеба на гумне, никогда не выдавшего в глаза заработной платы, и назовет несомненно бедным подмосковного мужика в ситцевой рубашке, получающего постоянно высокую заработную плату. Не только невозможно в России определять богатство степенью заработной платы, но смело можно сказать, что в России появление заработной платы есть признак уменьшения богатства и благосостояния. Это правило мы, русские, изучающие свой народ, можем проверить во всей России и потому, не рассуждая о богатстве всей Европы, можем и должны сказать, что для России, то есть для большей массы русского народа, высота заработной платы не только не служит мерилем благосостояния, но одно появление заработной платы показывает упадок народного богатства».

Этим исчерпываются, кажется, все существенные пункты статьи «Прогресс и определение образования». Теперь я прошу объяснить мне: что общего между приведенными воззрениями и мистицизмом, фатализмом, оптимизмом, квасным патриотизмом, славянофильством и проч., в которых только ленивый не упрекает гр. Толстого. Без сомнения, его анализ понятий

прогресса и цивилизации далеко не полон (автор, впрочем, и не ставил себе целью полноту анализа), страдает и другими недостатками. Но дело не в этом. Я обращаю только внимание читателя на точку зрения гр. Толстого Она прежде всего не нова. Она установлена лет приблизительно за тридцать до занимающей нас статьи, но отнюдь не славянофилами, а европейскими социалистами. Если где искать у гр. Толстого славянофильских или «почвенных» тенденций, так именно в указанной статье, которая, собственно говоря, представляет целую политическую программу в сжатом, скомканном виде. Между тем здесь-то и выступает всего резче непричастность гр. Толстого к славянофильству В статье нет и помину об одной из любимейших тем славянофильства — о великой роли, предназначенной провидением славянскому миру, долженствующему стереть с лица земли или по крайней мере совершенно посрамить мир романо-германский. Мало того, что тема эта не затронута в статье — гр. Толстой и вообще не написал на нее ни одной строки,— статья отрицает ее в самом корне, ибо гр. Толстой признает, что исторический ход событий сам по себе неразумен, бессмыслен, что для человека неустранимо сознание возможности с ним бороться, свободно ставя перед собой идеалы. Гр. Толстой с своей обычной смелостью бросает перчатку историческим условиям, вовсе не имея в виду, соответствуют они или не соответствуют началам русского, а тем паче славянского национального духа. Мистицизм, уверенный, что им уловлены пути, которыми провидение направляет человечество к известной цели, и пошлая трезвость, не знающая нравственной оценки исторических явлений,— обе эти крайности, так часто совпадающие, уничтожены гр. Толстым одним ударом. Не отрицая законов истории, он провозглашает право нравственного суда над историей, право личности судить об исторических явлениях не только как о звеньях цепи причин и следствий, но и как о фактах, соответствующих или не соответствующих ее, личности, идеалам. Право нравственного суда есть вместе с тем и право вмешательства в ход событий, которому соответствует обязанность отвечать за свою деятельность. Живая личность со всеми своими помыслами и чувствами становится деятелем истории на свой собственный страх. Она, а не какая-нибудь мистическая сила, ставит цели в истории и движет к ним события

сквозь строй препятствий, поставляемых ей стихийными силами природы и исторических условий. Гр. Толстой во всех своих доводах опирается единственно на разум и логические доказательства, что было бы для славянофила почти невозможным подвигом при рассуждениях о русском народе и европейской цивилизации. Правда, как и славянофилы, гр. Толстой много говорит о народе и скептически относится к благам европейской цивилизации. Но разве сочувствие народу и критика европейской цивилизации составляют монополию славянофилов? Во всяком случае, гр. Толстой иначе относится к обоим этим пунктам славянофильской программы. Хотя славянофилы и много толковали о «народе», но почти всегда разумели под этим словом стихийную совокупность людей, говорящих русским языком и населяющих Россию. Гр. Толстой не признает этого единства русских людей или по крайней мере усматривает в нем такие два крупные обособления, что считает возможным приравнять их отношения к отношениям враждебных национальностей. Для него «общество» и народ стоят друг перед другом в таких же, если можно так выразиться, нравственных позах, как французы и немцы в тот момент, когда они взаимно величают друг друга безмозглыми и пустоголовыми. Интересы «общества» и народа, говорит он, всегда противоположны. Правда, славянофилы также указывали на рознь идеалов и интересов высших и низших слоев совокупности русских людей. Они полагали, что рознь эта порождена петровским переворотом, и только им Говорят, что и гр. Толстой относится к петровским реформам отрицательно. Я этого не знаю, потому что печатно гр. Толстой в таком смысле не высказывался. Во всяком случае, это весьма возможно. Но я почти уверен, что печатное изложение мнений гр. Толстого о петровской реформе вполне обнаружило бы его непричастность к славянофильству, хотя бы уж потому, что Русь допетровскую он не может себе представлять в розовом свете. И в допетровской Руси существовали раздельно народ, «занятые классы» и, как выражается гр. Толстой, «общество», правда грубое, грязное, невежественное, но все-таки «общество». Что гр. Толстой именно так смотрит на дело, это видно из общего характера вышеприведенных его воззрений и из некоторых прямых указаний. Очень любопытно, например, следующее замечание. В статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь

месяцы» гр. Толстой рассуждает, между прочим, о преподавании истории и о том, следует ли ребятам только сообщать сведения или же давать пищу их патриотическому чувству. Рассказав о впечатлении, произведенном на детей повестью о Куликовской битве, он замечает: «Но если удовлетворять национальному чувству, что же останется из всей истории? 612, 812 года — и всего». Это — замечание глубоко верное само по себе и вполне совпадающее с общим тоном *десницы* гр. Толстого. Действительно, 1612, 1812 года и отчасти времена монгольского ига суть единственные моменты национальной русской истории, в которые не было никакой розни между целями и интересами «общества» и народа. Много других блестящих войн вела Россия, и для «общества», для «незанятых классов» суворовский переход через Альпы или венгерская кампания могут представлять даже больший патриотический интерес, чем 1612 и даже 1812 год. «Общество» знает цену тем отвлеченным началам, ради которых Суворов переходил через С.-Готард или русские войска ходили усмирять венгров. Народ — профан в этих отвлеченных началах: они не будят в нем никаких необыденных чувств, потому что не имеют с ним жизненной связи. И я уверен, что рассказ о почти невероятном подвиге перехода через Чертов мост или о том, что Гёргей¹⁸ пожелал сдаться русским, а не австрийцам, — не могут возбудить в народе ни патриотической гордости, ни вообще какого бы то ни было живого интереса, несмотря на то, что в обоих этих случаях русское оружие покрылось неувядаемою славой. Худо ли это, хорошо ли это — другой вопрос, но это — так. Гр. Толстой, в той же статье о преподавании истории, неподражаемо мастерски передает сцену оживления, возбужденного в яснополянской школе рассказом о войне 1812 года, особенно тот момент, когда, по определению одного из учеников, Кутузов наконец «окарачил» Наполеона. Суворов, Потемкин, Румянцев и другие славные русские полководцы «окарачивали» почище Кутузова, но они всегда останутся для народа бледными и неинтересными фигурами. Вот что, я думаю, хотел сказать гр. Толстой своим замечанием об исключительном, с точки зрения народа, характере 1612 и 1812 годов. Глубоко патриотическая подкладка «Войны и мира» в связи с другими причинами утвердила во многих убеждение, что гр. Толстой есть квасной патриот, славянофил, что он

падает ниц перед всем, что отзывается пресловутой и едва ли кому-нибудь понятной «почвой», что он верит в какое-то мистическое величие России и проч. Одни радовались, другие бранились, а между тем это убеждение решительно ни на чем не основано. Оно не оправдывается даже *шуйцей* гр. Толстого, о которой — в следующий раз. Я не отрицаю случайных совпадений воззрений гр. Толстого с тем или другим пунктом славянофильского учения, но это совпадения именно только случайные. Гр. Толстой написал резко патристическую хронику Отечественной войны, он написал бы, вероятно, таковую же хронику событий Смутного времени. Не спорю, он впал бы, может быть, при этом в некоторую односторонность и преувеличение в оценке грехов и заслуг той или другой исторической личности, того или другого исторического факта. Но одно верно: роста и развития московской, допетровской Руси он никогда не изобразит розовыми, угодными для славянофилов красками. Не напишет он также ничего подобного «Богатырям» г. Чаева или «Пугачевцам» гр. Сальяса¹⁹. Сравнение этих романов с «Войной и миром» очень соблазнительно и, смею думать, было бы небезынтересно с точки зрения профана. Но я должен отказаться от этой соблазнительной темы. Скажу только следующее. Ни от читателей, ни от критики не укрылась подражательность произведений гг. Чаева и Сальяса; слишком очевидно было, что эти писатели рабски копируют манеру «Войны и мира». Порешено было, что это плохие копии, и только, все было сведено к степени таланта. Только наш уважаемый сотрудник, г. Скабичевский, взглянул на дело несколько иначе. Но, будучи все-таки уверен в славянофильстве гр. Толстого, он, мне кажется, далеко не вполне измерил глубину различия между «Войной и миром», с одной стороны, и «Пугачевцами» и «Богатырями» — с другой²⁰. Гг. Чаев и Сальяс действительно рабски копировали манеру «Войны и мира» и изо всех сил старались то же слово так же молвить. Насколько неудачны оказались их старания, это дело второстепенное, ввиду того, что они не сумели схватить главного и существеннейшего в воззрениях гр. Толстого. Они, гг. Чаев и Сальяс, могут любую страницу русской истории, не моргнув глазом, обработать на манер «Войны и мира», и выйдет ни хуже ни лучше, чем «Богатыри» и «Пугачевщина», а гр. Толстой призадумается. А если, паче чаяния, не призадумается и в суворов-

ских, например, походах времен императора Павла увидит общенародное русское дело, то напишет вещь плохую, сравнительно, разумеется, говоря. Вещь эта будет потому плоха, что гр. Толстой не верит в единство целей и интересов всех людей, говорящих русским языком, на протяжении всей русской истории. Он знает, что единство это есть явление крайне редкое в русской, как и в европейской истории, что много нужно условий для совпадения славы оружия с интересами и идеалами народа. Он лишен первобытной невинности и наивности людей, считающих возможным и даже обязательным гореть патриотическим пламенем при всякой победе русского оружия и вообще на всякой громкой странице русской истории. И если бы он вздумал заставить своих героев пламенеть по таким же поводам, по каким пламенеют почти все «герои», то есть положительные типы гг. Чаева и Сальяса,— это было бы пламя фальшивое, бледное, негодное, недостойное мыслящего и убежденного художника.

Повторяю, случайные совпадения мнений гр. Толстого с славянофильскими воззрениями разных оттенков возможны и существуют, но общий тон его убеждений, по моему мнению, самым резким образом противоречит как славянофильским и почвенным принципам, так и принципам «официальной народности»²¹. В этом меня нисколько не разубеждают и слухи об отрицательном отношении гр. Толстого к Петровской реформе. Надо, впрочем, заметить, что только первые, старые славянофилы ненавидели и презирали Петра. Теперешние же эпигоны славянофильства относятся к нему совсем иначе. Года два тому назад я был приглашен на вечер, на котором должен был присутствовать один довольно известный петербургский славянофил. «Живого славянофила увидите»,— заманивали меня. Я пошел посмотреть на живого славянофила. Он оказался человеком очень говорливым, красноречивым и, между прочим, с большим пафосом доказывал, что Петр был «святорусский богатырь», «чисто русская широкая натура», что в нем целиком отразились начала русского народного духа. Это напомнило мне, что тоже прикосновенный к славянофильству г. Страхов одно время очень старался доказать, что нигилизм есть одно из самых ярких выражений начал русского народного духа...²² Я думаю, что если гр. Толстой исполнит приписываемое ему намерение написать роман из времен

Петра Великого, то оставит эти несчастные начала народного духа, которые каждый притягивает за волосы к чему хочет, совсем в стороне. Быть может, он потщится свалить Петра с пьедестала как личность²³, быть может, он казнит в нем человека, толкнувшего Россию на путь *европейских форм* раздвоенности народа и «общества». Славянофильства тут все-таки не будет. Критика европейской цивилизации, представленная в статье о прогрессе гр. Толстым, и критика славянофильская не только не имеют между собой ничего общего, но мудро даже найти два исследования одного и того же предмета, более противоположные и по исходным точкам, и по приемам, и по результатам. Прошу читателя сравнить воззрения гр. Толстого с следующими, например, строками, заимствованными из статьи «Зигзаги и арабески русского домоседа», напечатанной в № 4 «Дня» за 1865 год. Уверяю вас, что я не рылся в книгах для того, чтобы выудить этот перл. Мне хотелось найти что-нибудь подходящее для сравнения. Я взял первое попавшееся под руку славянофильское издание и, перевернув несколько страниц, нашел следующее:

«Всяким довольством обильна, величавым покоем полна, протекала когда-то старинная дворянская жизнь домоседская: мед, пиво варили, соленья солили и гостей угощали на славу — избытком некупленных, богом дарованных благ. И этой спокойно-беззаботной жизни не смущала залетная мысль, а если бушевала подчас кровь — пиры и охота, шуты и веселье разгулом утоляли взволновавшуюся буйную кровь». Затем идет длинное, все в том же шутовском стиле, описание запустения дворянской домоседской жизни. Все это просто подход, автору просто хочется сказать, что Южной России нужны железные дороги. Поговорив и о русских красавицах, и об удалых тройках, и еще невесть об чем, автор подступает наконец, с божией помощью, к Илье Муромцу, ну, а уж известное дело, что от Ильи Муромца можно прямым путем до чего угодно дойти. Автор и доходит: «Не старцев, калик перехожих, ждет томящийся избытком богатств несбытных, земель непочатых южнорусский край — ждет он железного пути от срединной Москвы к Черному морю. Ждет его могучего соловьиного свиста древний престольный город Киев; встрепенется, оживет в нем старый русский дух богатырский; воссияют ярким золотом потемневшие злато-

главые церкви, и звонче раздастся колокольный тот звон, что со всех концов земли русской утомленные силы, нажитое, накопленное горе ко святым пещерам зовет, облегчение, обновление дает. Торный, широкий след проложила крепкая вера, нетронутая да тяжелая, жизнию вскормленная скорбь народная — к городу Киеву. Но на перепутье другом создали силы народной жизни новый город Украины, Харьков торговый, — бьет ключом здесь торговая русская жизнь, север с югом здесь мену ведет, и стремятся сюда свежие, ретивые русские рабочие силы, к непочатым землям Черноморья и Дона, к просторным новороссийским степям, к Крыму безлюдному, что стоном стонет, рабочих рук просит. И сильный борец против Киева древнего — юный город, народной жизнью вновь указанный, созданный. Томятся, ждут города и земли — к кому направится новый желанный путь, кому дастся сила, кому бесплодие, бессилие?» Редакция «Дня», с своей стороны, не желая уступить в паясничестве своему корреспонденту, делает такое примечание от себя: «Моря и Москвы хочет достигнуть Киев; пуще моря Москва нужна Харькову: Киеву — первый почет, да жаль обидеть и Харькова. Или Русь-богатырь так казной-мошной отошала и ума-разума истеряла, что не под силу ей богатырскую, не по ее уму-разуму за единый раз добыть обоих путей, обоих морей, железом стянуть до Черного через Киев-град и Азовское на цепь к Москве через Харьков взять, чтобы никому в обиду не стало?»

Я не об том говорю, что гр. Толстой унижится до такого паясничества только в том случае, если у него бог разум отнимет. Это само собой разумеется. Я обращаю внимание читателей на внутреннюю подделку фактов и понятий, выглядывающую из-под этой нелепой, режущей ухо подделки речи. Нужды «дворян-домоседов» обставляются звоном киевских колоколов, Ильей Муромцем, каликами переходжими, и выходит так, как будто бы уж не о дворянах-домоседах речь идет, а о величии всей России. Вместо дворян-домоседов подсовывается «Русь-богатырь». С паясничеством или без паясничества, но славянофилы всегда очень удобно справлялись с материальными благами проклятой ими европейской цивилизации. Они только «духа» европейского не любили, они предпочитали начала русского или славянского духа. Много они об этом духе толковали, и потому выходило так, что они — необыкновенно воз-

вышенные идеалисты, до которых гр. Толстому, как до звезды небесной, далеко. В самом деле, он критикует европейскую цивилизацию совсем не с точки зрения какого бы то ни было «духа», а с точки зрения такой прозаической и материальной вещи, как «общее благосостояние». С этой точки зрения он признает телеграфы, железные дороги, книгопечатание, заработную плату и другие «явления прогресса», которых он не перечисляет, явлениями выгодными для известной, малой части русской нации и невыгодными для другой, большей. Уличайте его в преувеличении, в парадоксах, доказывайте, что его точка зрения неверна, но не валите же на него того, в чем он ни на волос не грешен. Не называйте его славянофилом, когда мудрено найти точку зрения более противоположную славянофильской, чем та, на которой он стоит. Я далек от мысли признавать славянофилов людьми, сознательно подтасовывавшими факты и понятия — напротив, наиболее видные славянофилы были люди вполне искренние. Но тем не менее, оставляя в стороне их богословские воззрения и панславизм (об чем гр. Толстой не написал во всю свою жизнь ни одной строчки), не трудно видеть, что они провозили немало контрабанды под флагом начал русского народного духа. В экономическом отношении сделать из России Европу легче всего при помощи славянофильской программы, за вычетом из нее одного только пункта — поземельной общины. Как это на первый взгляд ни странно, но оно так. Славянофилы никогда не протестовали против утверждения в России европейских форм кредита, промышленности, экономических предприятий. Они требовали только, чтобы производительные силы России и ее потребители находились в русских руках. Так, например, они требовали покровительства русской промышленности, попросту говоря, высоких тарифов. Обставляя это требование орнаментами в вышеприведенном стиле, то есть рассуждениями о величии России и восклицаниями о каликах перехожих и киевских колоколах, славянофилы не смущались тем, что покровительственная торговая политика выгодна не России, а русским заводчикам. Под покровом киевских колоколов и калик перехожих они, сами того не замечая, стремились ускорить появление в России господствующих в Европе отношений между трудом и капиталом, то есть того, что сами они готовы были отрицать на словах и что составляет самое

большое место европейской цивилизации. Гарантируйте русским фабрикантам десяток-другой лет отсутствия европейской конкуренции, и вы не отличите России от Европы в экономическом отношении. Недаром весьма просвещенные русские заводчики проникаются необычайною любовью к России всякий раз, когда заходит речь о тарифе. Недаром один из ораторов заседающего в эту минуту в Петербурге «съезда главных по машиностроительной промышленности деятелей», кажется известный своим красноречием г. Полетика²⁴, воскликнул: тогда (то есть после десятка-другого лет отсутствия европейской конкуренции) мы встретим врагов России русскою грудью и русским железом! Вот образчик чисто славянофильского пафоса. Русская грудь, русское железо и враги России играют тут такую же роль, как киевские колокола и Илья Муромец в паясничестве «Дня» и его корреспондента из дворян-домоседов: совсем об них речи нет, совсем они ненужны, совсем они даже бессмысленны, потому что врага нужно встречать просто хорошим железом, а будет ли оно русское или английское — это не суть важно. Русская грудь, русское железо и враги России притянуты сюда в качестве флага, прикрывающего контрабанду, скрадывающего разницу между Россией и русскими заводчиками. Этим-то скрадыванием и занимались всегда славянофилы. Они знали себе одно: или Русь-богатырь так казной-мошной истощала и ума-разума истеряла, что не под силу ей богатырскую, не по ее уму-разуму иметь своих собственных русских заводчиков, свои собственные акционерные общества, своих собственных русских концессионеров железных дорог и проч. Все выработанные и освященные европейской цивилизацией формы экономической жизни принимались славянофилами с распростертыми объятьями, со звоном киевских и других колоколов, если они обставлялись русскими и обруселыми именами собственными. А тем самым вызывалось изменение начал русской экономической жизни в чисто европейском смысле. Но изменение не могло ограничиться экономической стороной общественной жизни. Допустим, что русские фабриканты обеспечены от европейской конкуренции, что вследствие этого Русь-богатырь имеет своих собственных святорусских пролетариев и свою собственную святорусскую буржуазию; что значительная часть деревенского населения, стянувшись к городам, передала

свои земли собственным святорусским лендлордам и фермерам; что появилась более или менее высокая заработная плата, появление которой гр. Толстой считает для России признаком упадка народного богатства и проч. Таким образом, русская промышленность и русское сельское хозяйство процветают. Как отзовется это изменение на других сторонах русской жизни? Вовсе не надо быть пророком, чтобы ответить на этот вопрос, потому что означенное изменение уже отчасти совершается. Мы видим, например, что народ забывает те свои, чисто народные песни, которые так восхищали славянофилов как выражение начал русского духа, и запекает:

Мы на фабрике живали,
Мелки деньги получали,—
Мелки деньги пятаки
Посносили в кабаки.

Или:

Я куплю своему милому
Тот ли бархатный жилет.

Этой перемене должно, конечно, соответствовать и изменение нравственного характера русского рабочего люда. Политические условия страны опять-таки необходимо должны измениться, экономическая сила буржуазии и лендлордов необходимо повлечет ее по пути развития одного из европейских политических типов. В конце концов знаменитых начал русского духа не останется даже на семена, хотя процесс начался звоном киевских колоколов и вызовом тени Ильи Муромца.

Может показаться, что первые славянофилы гораздо глубже и, главное, проникательнее ненавидели европейскую цивилизацию. Я об этом спорить не буду. Замечу только, что Киреевские, Хомяков были поглощены преимущественно богословскими и философско-историческими, вообще отвлеченными, теоретическими интересами, что зависело от условий времени. Как только жизнь выдвинула на очередь вопросы практические, так немедленно обнаружилось внутреннее противоречие славянофильской доктрины, ее бессознательное тяготение к провозу европейской контрабанды под флагом начал русского народного духа. Вообще, я вовсе не претендую на хотя бы даже приблизительно полный очерк славянофильства и связанных с ним учений.

Славянофильство имело много почтенных сторон и оказало немало ценных услуг русскому обществу, чего, впрочем, отнюдь нельзя сказать о его преемниках, о тех межеумках, которые получили название «почвенников», — умалчиваю о головоногих «Гражданина»²⁵. Я имею в виду только один, но весьма существенный признак славянофильства: в трогательной идиллии или с бурным пафосом, серьезно или при помощи буффонады, но славянофилы упорно отождествляли интересы и цели «незанятых классов» (древней или новой России) с интересами классов занятых, вдвигая их в национальное единство. Это справедливо и относительно первых славянофилов. Не стану этого доказывать, а просто сошлюсь на г. Страхова. Этот часто очень тонкий и меткий писатель назвал Ренана французским славянофилом. А Ренан смотрит на вещи так: «Мы уничтожили бы человечество, если бы не допустили, что целые массы должны жить славою и наслаждением других. Демократ называет глупцом крестьянина старого порядка, работавшего на своих господ, любившего их и наслаждавшегося высоким существованием, которое другие ведут по милости его пота. Конечно, тут есть бессмыслица при той узкой, запертой жизни, где все делается с закрытыми дверями, как в наше время. В настоящем состоянии общества преимущества, которые один человек имеет над другими, стали вещами исключительными и личными: наслаждаться удовольствием или благородством другого кажется дикостью; но не всегда так было. Когда Губбио или Ассиз глядел на проходящую мимо свадебную кавалькаду своего молодого господина, никто не завидовал. Тогда все участвовали в жизни всех; бедный наслаждался богатством богатого, монах радостями мирянина, мирянин молитвами монаха, для всех существовало искусство, поэзия, религия». Г-н Страхов прав: это — истинно славянофильские воззрения.

Но это не суть воззрений гр. Толстого. Любопытно, что г. Страхов (статья его о Ренане напечатана в сборнике «Гражданина»), которого нельзя себе представить рядом с гр. Толстым иначе, как в коленапреклоненной позе, и который, впрочем, столь же охотно преклоняет колена перед г. Н. Данилевским²⁷ и — я не знаю — может быть, даже перед кн. Мещерским, — любопытно, что г. Страхов вполне согласен с Ренаном. Он тоже верит, что толки об «общем благосостоянии» порождены

постыдною завистью, сменившею восторг крестьянина старого порядка («молодшего брата»?) перед «свадебной кавалькадой молодого господина». Но, говорит г. Страхов, Россия гарантирована от толков об «общем благосостоянии» и от духа зависти, гарантирована глубокими началами русского народного духа, которому противен «житейский материализм». Увы! на эти гарантии наложил руку не кто иной, как — *horribile dictu!* * — гр. Лев Толстой. Он, так много превознесенный, меряет западную цивилизацию не началами русского духа и не какими-нибудь возвышенными мерками смиренномудрия и терпения, а «общим благосостоянием!» Он только потому отрицает эту цивилизацию, что она не ведет к общему благосостоянию, и справься она с этим пунктом — гр. Толстой не будет ничего иметь против нее. Он, гр. Толстой, не смущаясь соображениями г. Страхова о зависти, утверждает, что «молодшему брату» действительно нет никакой причины радоваться на «кавалькаду молодого господина». Этого мало. На гнилом Западе мало ли что делается²⁸. Но и русский молодой брат, по мнению гр. Толстого, нисколько не заинтересован в том, что «русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу, укрепились нервами и обнимает своего обожаемого супруга»; нечего ему радоваться и тому, что русский купец или фабрикант исправно получает телеграммы о дороговизне или дешевизне сахара или хлопчатой бумаги. Молодший брат «только слышит гудение проволок и только стеснен законом о повреждении телеграфов». «Мысли, с быстротою молнии облетающие вселенную, не увеличивают производительности его пашни, не ослабляют надзора в помещичьих и казенных лесах, не прибавляют силы в работах ему и его семейству, не дают ему лишнего работника. Все эти великие мысли только могут нарушить его благосостояние, а не упрочить или улучшить, и могут только в отрицательном смысле быть занимательными для него». Вместо того чтобы приглашать молодшего брата радоваться процветанию отечественной литературы, гр. Толстой уверяет, что «сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды»; и «чтобы человеку из русского народа полюбить чтение «Бориса

* Страшно сказать! (*лат.*) — *Ред.*

Годунова» Пушкина или историю Соловьева, надо этому человеку перестать быть тем, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям».

Довольно. Прегрешение гр. Толстого очевидно. Я лично, впрочем, вижу во всем этом не прегрешение, а десницу гр. Толстого, свежую и здоровую часть его воззрений. Я отнюдь не думаю утверждать, чтобы все положительные и отрицательные результаты, к которым пришел гр. Толстой, были вполне верны. Главный и общий их недостаток состоит в излишней простоте. В самом деле, они до такой степени просты, что не могут вполне соответствовать действительности, всегда сложной и запутанной. Но дело не в этом. Раз установлена известная точка зрения на вещи, все остальное дело поправимое. Только за точку зрения гр. Толстого я и стою. И я искренно говорю, что не понимаю ни того, почему гр. Толстой прослыл мистиком, оптимистом, фаталистом, славянофилом, квасным патриотом и проч., ни того, почему его воззрения прошли бесследно в шестидесятых годах, когда мы были более или менее восприимчивы к свежей, оригинальной, хотя бы и парадоксальной мысли, ни, наконец, того, почему его воззрения возбудили такой шум теперь, когда...

II

В статье «О народном образовании» (старой, напечатанной в IV т. сочинений) Толстой говорит: «Мы, русские, живем в исключительно счастливых условиях относительно народного образования; наша школа не должна выходить, как в средневековой Европе, из условий гражданственности, не должна служить известным правительственным или религиозным целям, не должна вырабатываться во мраке отсутствия контроля над ней общественного мнения и отсутствия высшей степени жизненного образования, не должна с новым трудом и болями проходить и выбиваться из того *cercle vicieux* *, который столько времени проходили европейские школы, *cercle vicieux*, состоящий в том, что школа должна была двигать бессознательное образование, а бессознательное образование двигать школу. Евро-

* Порочного круга (*фр.*).— *Ред.*

пейские народы победили эту трудность, но в борьбе не могли не утратить многого. Будем же благодарны за труд, которым мы призваны пользоваться, и по тому самому не будем забывать, что мы призваны совершить новый труд на этом поприще».

Таким образом, граф Толстой, провозглашающий право и обязанность личности бороться с историческими условиями во имя ее идеалов и отрицающий прошлый ход европейской цивилизации, подает руку последним и лучшим плодам этой цивилизации. Эта рука есть десница графа Толстого. Ах, если бы у него не было шуйцы!.. Если бы не имели повода пристегиваться к его громкому имени всякие проходимцы, всякие пустопорожние люди и межеумки, по заслугам не пользующиеся сочувствием общества... Какой бы вес имело тогда каждое его слово и какое благотворное влияние имела бы эта вескость!..

Какова бы, однако, ни была шуйца графа Толстого, но уже из предыдущего видно, до какой степени недобросовестно относятся к нему многие наши критики, как хвалители, так и хулители. Замечательны, в самом деле, усилия, употребляемые многими для смешения гр. Толстого со всем, что только есть темного и промозглого в нашей литературе. По поводу статьи «Отечественных записок» и «Анны Карениной» в мрачных, поросших плесенью, пропитанных гнилью и сыростью подвалах «Гражданина» и «Русского мира»²⁹ раздались радостные вопли! Своды подвалов тряслись от криков: наш! наш! Он — певец священных радостей и забав «культурных слоев общества» и избалованный «науки, им послушной, суеты и пустоты»!³⁰ Обитателям подвалов простительно это ликование. Понятно, что им лестно пристегнуться к светлому имени. Понятно также, что им не ясен истинный характер воззрений гр. Толстого на радости и забавы «культурных слоев общества». Много мерзостных подробностей быта этих слоев изображено в «Анне Карениной», и обитатели подвалов, пещерные люди, троглодиты с гордостью указывали на эти подробности как на нечто такое, чего не способны проделать «разночинцы». Еще бы! Но бог с ними, с пещерными людьми. Им многое простится, потому что они почти ничего не понимают. Совсем иначе приходится взглянуть на статью г. Евгения Маркова «Последние могилы русской педагогики», напечатанную в № 5 «Вестника Европы». Статьи более недобросовестной, более,

скажу прямо, наглой мне давно не приходилось читать. Г-н Марков тщательно облачается в полную парадную форму либерализма, ежеминутно брякает шпорами либерализма и потряхивает блестящими эполетами либерализма. Статья пропитана лирическим и патетическим жаром, и тем не менее каждая ее строчка, так сказать, точеная, деланная, высиженная с весьма непохвальной целью. Звонком и блеском, которого так много, что даже в глазах рябит и тошно становится, прикрывается непонимание, а простая передержка. Надо заметить, что автор есть тот самый г. Марков, который некогда полемизировал в «Русском вестнике» с гр. Толстым и которому последний отвечал статьей «Прогресс и определение образования». Я узнал об этом из следующего величественного заявления г-на Маркова: «С гр. Л. Н. Толстым мы встречаемся не в первый раз. В 1862 году мы напечатали в «Русском вестнике» статью под заглавием «Теория и практика яснополянской школы», в которой сделали, по возможности, полный анализ как теоретических заблуждений, так и практических достоинств яснополянской школы. Педагогический журнал гр. Л. Н. Толстого закончился ответной статьей на нашу статью и не возобновлялся больше. Мы не были настолько нескромны, чтобы приписать нашему посильному анализу решение гр. Толстого прекратить защиту исповедуемой им теории обучения, но все-таки надеялись, что и наши замечания имели, вместе со школьным опытом гр. Толстого, некоторое влияние на изменение его педагогических убеждений. Поэтому теперь, когда оказывается, что гр. Толстой вновь поднимает старое копьё и выступает с проповедью тех самых педагогических начал, которые составлял он в 1862 году, на нас даже лежит некоторая нравственная обязанность не отказываться от состязания и явиться на защиту тех общеевропейских основ народного обучения, которые мы отстаивали против гр. Толстого двенадцать лет назад».

Право, мне жаль г. Маркова. Двенадцать лет человек был убежден, что он убедил и победил, спокойно занимался изучением итальянской живописи, недобросовестностью адвокатов, красотами Крыма и многими другими предметами — вдруг оказывается, что враг и не думал класть оружие! Положение истинно трагическое. Я не думаю, однако, чтобы из него надлежало выходить при помощи тех приемов, которые г. Марков

почему-то называет исполнением «нравственной обязанности».

Сердца русских педагогов должны трепетать от радости. Статья гр. Толстого налетела на них, как неожиданная туча, разразившаяся дождем и градом; цветы педагогики были прибиты к земле и еле-еле поднимали свои растрепанные венчики к небу, прося солнца и тишины. Вся литература, точно сговорившись, дружно поддержала гр. Толстого, а полемические опыты гг. Евтушевского, Бунакова, Медникова³¹, редакции «Семьи и школы» и проч. были так слабы, так незаметны... Но мало-помалу сквозь тучу стали пробиваться солнечные лучи. Первым лучом была статья г. Цветкова в «Русском вестнике», появившаяся тотчас же вслед за статьей гр. Толстого в «Отечественных записках». Г. Цветков есть пещерный человек, троглодит, и нападение его на новую педагогию в лице барона Корфа должно было приятно щекотать самолюбие педагогов, как и всякое нападение, исходящее из среды пещерных людей. Но все-таки это был только, так сказать, отрицательный солнечный луч. Мало-помалу и в литературе то там то сям стали проскальзывать более или менее приятные для педагогов вещи (я думаю, тут много помогло педагогам появление в «Русском вестнике» «Анны Карениной»), а наконец... наконец взошло и солнце, явилась статья г. Маркова «Последние могикане русской педагогики» в майской книжке «Вестника Европы». Восемь месяцев пребывали педагоги в томительном ожидании, восемь месяцев г. Евгений Марков работал, работал, работал... Результат налицо. Статья г. Маркова во многих отношениях далеко превосходит полемические опыты гг. Медникова, Евтушевского, Бунакова и проч. Те только старались быть развязными; но всякому было ясно, что они чего-то конфузятся. Г-н Марков действительно развязен и к конфузу не имеет ни склонностей, ни способности. Гордиев узел полемики гг. Медников, Евтушевский, Бунаков и проч. старались распутать бойко и с колкостью, но так как они своим саном учителей юношества более приучены к степенности, то колкость и бойкость им не удавалась; при распутывании узла у них нервически дрожали руки, нервная дрожь слышалась и в голосе. Г-н Марков, памятуя пример Александра Македонского, не распутывает узла, а разрубает его. Гг. Медников, Евтушевский, Бунаков и проч. имели вид скромных «штафиров»,

бьющих на то, чтобы действия их имели характер солидности и, будучи втянуты в полемику, наносили удары столь неграциозно и неуклюже, что напоминали собой разыгравшуюся корову, держащую хвост на отлете вверх и несколько вбок. Г-н Марков имеет, напротив, вид блестящего военного офицера из кавалеристов, с лихо закрученными усами, вполне уверенного в своей непобедимости и все дела обделывающего «по-военному». Педагоги вели войну почти исключительно оборонительную и только изредка делали вылазки наступательного характера. Г-н Марков презирает оборонительную войну; он наступает, вторгается в неприятельскую страну, жжет, рубит, расстреливает, вешает, налагает контрибуции. Понятно, что сердца педагогов должны трепетать от радости при виде такого победоносного союзника. Он обладает именно теми качествами, недостаток которых обнаружили педагоги; он есть именно такой герой, каким бы они хотели быть, но по привычке к гражданской деятельности быть не могут.

По человечеству, я рад за господ педагогов, если мир действительно осенил их взбаламученные души. Но я должен все-таки сказать, что, будь я педагог, я бы не обрадовался такому союзнику, как г. Марков. Мне казалось бы, что такой союзник компрометирует меня и мое дело, компрометирует именно своею развязностью и неконфузливостью.

Главная задача г. Маркова состоит в том, чтобы смешать гр. Толстого если не прямо с грязью, то хоть с г. Цветковым, автором статьи «Новые идеи в нашей народной школе», напечатанной в № 9 «Русского вестника». Г-н Цветков есть один из «птенцов гнезда Каткова»³², то есть нечто вообще злобное, мрачное, воюющее с ветряными мельницами, ежеминутно готовое уличить в государственном преступлении и верстовой столб на большой дороге, и кротко блеющего барашка, и сороку, и ворону, и я не знаю кого и что. Одного штриха будет достаточно для убеждения читателя в том, что г. Цветков есть действительно птенец гнезда Каткова. Найдя в книге барона Корфа «Наш друг»³³ несколько практических сельскохозяйственных советов (едва ли особенно нужных и полезных) и несколько указаний на полезных и вредных животных, г. Цветков раздражается такими громами: «Без сомнения, проштудировав о любви ради пользы и выгоды, и о барышах, и о чистом доходе, ученики будут наведены, чтобы и без

помощи учителя предложить себе вопросы вроде следующих: какую пользу приносит дряхлый старик, слабый ребенок, калека, больной? За что следует любить их? Какой чистый барыш могут принести мне яблоки, что растут за забором соседа?»

Казалось бы, переход от вредоносности суслика или мыши к воровству соседних яблок невозможен, немислим. Но нас давно уже приучили к такого рода переходам, мало того, притупили в нас способность возмущаться этими вольтами и передержками. Было время — оно от нас очень недалеко, — когда этих виртуозов можно было даже опасаться, но своим изумительным усердием и необычайным искусством, добытым продолжительною практикою, они достигли неожиданного результата: репутации шутов, подчас действительно смешаших, но в большинстве случаев слишком назойливых и надоедливых. Теперь их никто не боится, никто их кликушеством не возмущается, редко кого они смешат. Прочтут люди, пожмут плечами, и конец. Иначе и быть не может. Фельетонисты «Русского мира» и критики «Русского вестника» все обличают кого-то в разрушении семьи, а увидав в последнем романе гр. Толстого Анну Каренину, Облонского, Вронского, самым осязательным образом разрушающих семейное начало, вдруг восклицают: «Вот люди, сохраняющие среди новых общественных наслоений лучшие предания культурного общества!» Эти несчастные уверены, что они говорят комплимент «культурному обществу»! Такое самозаушение было смешно, пока оно было внове, но теперь, глядя на него, можно только плечами пожать, потому что шутовство это уже надоело. Г-н Цветков очень хорошо знает, что истребление овражков составляет в некоторых губерниях повинность; он, вероятно, держит у себя кошку, исправно истребляющую мышей, и вдруг проникается необычайной симпатией к овражкам и мышам и за наименование их бароном Корфом вредными и любви недостойными обвиняет почтенного барона в подговоре к истреблению стариков, калек и к воровству соседних яблок... Г-н Цветков — русский клерикал, то есть нечто нравственно безногое, безрукое и безголовое, ибо клерикализм не имеет у нас на Руси ни даже подобия почвы. Духовенство русское никогда не обнаруживало ни желанья захватить в свои руки воспитание юношества, ни того уменья, с которым ухватились за это дело, например, иезуиты или про-

тестантские пасторы. Да и вообще прошедшее и настоящее русского духовенства таково, что мало-мальски серьезный русский клерикализм просто невозможен. Я полагаю, этого и доказывать нечего. Так вот с этим-то невозможным г. Цветковым г. Марков и желал смешать гр. Толстого. Достигает он этого способами поистине изумительными. Он, собственно говоря, очень хорошо понимает, что гр. Толстой — сам по себе, а г. Цветков — сам по себе. Статьи этих писателей появились почти одновременно. Г. Марков великодушно допускает, что это совпадение случайное. Он даже прямо говорит, что «удары, направляемые на нашу зарождающуюся народную школу, идут из двух совершенно противоположных лагерей». «И радикал (гр. Толстой) и клерикал (г. Цветков), — продолжает г. Марков, — сошлись в общей ненависти к нашей народной школе за ее общечеловеческий и общеевропейский характер и разными орудиями, с разным искусством, из разных побуждений дружно добиваются одной и той же цели — избиения русской народной школы. Этот искусственный минутный союз напоминает такие же искусственные минутные союзы теперешних французских политических партий, где легитимисты идут то рядом с бонапартистами, то рядом с ультралибералами, чтобы обессилить единственную пугающую их партию просвещенного и сознательного либерализма».

Г-н Марков делает в этих словах совершенно верное и даже подходящее, но не совсем полное сравнение. Справедливо, что крайние партии во Франции часто вступают в минутные союзы; справедливо и то, что подобные союзы наичаще заключаются ввиду партии, которую г. Марков называет «партией просвещенного и сознательного либерализма» и которую правильнее было бы характеризовать русской поговоркой: ни богу свечка, ни черту кочерга. Но г. Марков не сказал, как поступают в подобных случаях люди «просвещенного и сознательного либерализма»: они мешают шашки, валят с больной головы на здоровую, валят грехи, например, бонапартистов на «ультралибералов» и стараются наловить в этой мутной воде как можно больше рыбы. Так поступает и г. Марков относительно г. Цветкова и гр. Толстого. Считая себя, вероятно, человеком просвещенного и сознательного либерализма, г. Марков не гнушается приемами смешения шашек, выработанными людьми просвещенного и сознательного либера-

лизма в Европе. Он, открыто заявляющий, что г. Цветков и гр. Толстой суть представители *совершенно противоположных* лагерей, что они действуют *различными орудиями и из различных побуждений*, он в той же статье, нимало не смущаясь, кладет их обоих в ступу просвещенного и сознательного либерализма и с азартом толчет их вместе пестом «жалких слов»

Приведя из статьи гр. Толстого несколько фраз, г. Марков замечает: «Итак, ясно, что вина новой школы, по гр. Толстому, в том, что она изменила науке, недостаточно научна». Да, гр. Толстой указывает и доказывает это. Г-ну Маркову, по его словам, «дорога та живая идея, которая действует в новой школе и которая, собственно, и возмущает педагогов иного пошиба». Прекрасно. Г-ну Маркову надлежало бы только показать публике эту «живую идею», доказать всем смущенным статьей гр. Толстого, что последний говорит неправду, что наша педагогика вполне научна. Ведь это, кажется, так просто: покажите научные основания, в силу которых г. Миропольский уличает в невежестве барона Корфа и рекомендует благодарить создателя, который нам дал наружные уши, а вот рыбам так не дал; покажите научные основания, которыми руководствуется г. Белов, распевая:

Супцу нет уже нисколько,—
Все уж скушал мой сынок³⁴

или г. Бунаков, задавая вопрос: сколько у курицы ног и летает ли лошадь?³⁵ Покажите эти научные основания — и спор немедленно прекратится. Если бы гр. Толстой и продолжал из упрямства твердить свое, ему бы никто не верил и оставался бы он гласом вопиющего в пустыне. Но г. Марков более склонен блистать эполетами и шпорами просвещенного либерализма, чем говорить дело. Поэтому он оставляет упрек гр. Толстого без рассмотрения и, только отметив его, иронически продолжает: «Новая школа готова совсем исправиться, стать неизмеримо научнее... но вдруг, повернувшись, встречает нападение г-на Цветкова. Он ей говорит: 1) Новая школа виновата в том, что она стремится дать *массу научных фактов* и сведений. 2) Новая школа, вместо того чтобы читать «*божественное*», и т. д., и т. д.

Вы возмущены, читатель. И я вас понимаю. Г-н Марков, рассыпавший в своей статье об адвокатах³⁶ сильные выражения, вроде «прелюбодей мысли» и «со-

фисты XIX века», брезгает даже софизмом — он просто передергивает. Речь идет о гр. Толстом. Опровергните его и принимайтесь потом за г. Цветкова — это ведь люди совершенно противоположных лагерей, действующие различными орудиями и из различных побуждений. Какое же дело гр. Толстому до того, в чем обвиняет новую школу г. Цветков, и обратно — какой резон г. Цветкову отвечать за гр. Толстого? Но г. Марков идет и дальше на этом скользком пути смещения шашек. Он систематизирует прием, который, я боюсь, приличествует только прелюбодеям мысли, возводит его в критический принцип. Он говорит: «Мы не можем представить лучшего опровержения нашим оппонентам, как устроив между ними такую очную ставку; всецелое противоречие свидетелей — на основании которого еще премудрый ветхозаветный судья посрамил двух старцев, оклеветавших невинную Сусанну, — считается окончательным доводом несправедливости на самом строгом судебном процессе. Поэтому мы не видим нужды приводить после этого (поэтому после этого?), в разъяснение истинных целей и сущности новой педагоги, какие-либо авторитетные свидетельства, хотя могли бы сделать это без малейшего труда. Что два союзника, одновременно производящие свое нападение с двух различных флангов, вдруг стукнулись лбами, означает одно: что они двигались в темноте и что они нападали на пустоту». Как вам нравится, читатель, этот новоявленный критический прием? Некто утверждает, что педагоги не могут представить в оправдание своей системы научных оснований и что они не сообщают ученикам новых сведений. Другой говорит, что педагоги сообщают слишком много научных сведений. Является г. Марков и, подражая премудрому ветхозаветному судии, объявляет, бряцая шпорами просвещенного либерализма: вы противоречите друг другу, следовательно, вы оба врете, а *поэтому* я не стану *после этого* доказывать, что современная педагогика хороша, — это само собой ясно. Напрасно, г. Марков. Это вовсе не ясно. И лучше бы вам «без труда» набрать авторитетных свидетельств, чем трудиться над чисткой эплет просвещенного либерализма. Кроме барышень, которые «к военным людям так и льнут»³⁷, блеском эплет никого и ни в чем убедить нельзя. Кто вас знает, может быть, вы и в самом деле можете доказать, что современная педагогика вполне научна и сообщает такое

именно количество сведений, которое нужно. Отзвонили бы, да и с колокольни долой, а теперь вы можете звонить сколько вашей душе будет угодно и все-таки не вырвете у ереси гр. Толстого ни одной души, ибо слишком ясно, что вы занимаетесь прелюбодеянием мысли. Положим, что существует убеждение в неподвижности земли и солнца и что вы, г. Марков, разделяете это убеждение (конечно, вы для этого слишком просвещены, но, положим, к примеру). Вы присутствуете при астрономическом споре, в котором на ваших единомышленников нападают с одной стороны люди, доказывающие, что земля обращается около солнца, а с другой стороны — люди, верящие, что солнце вертится около земли. Вы, со свойственной вам развязностью, объясняете: и те и другие врут, ибо противоречат друг другу, а еще премудрый ветхозаветный судья и проч.: поэтому я не стану доказывать после этого, что солнце и земля неподвижны,— это само собой ясно. Без сомнения, такой критический прием и добытый им результат весьма удобны, но могут ли они кого-нибудь убедить?

Но и это только цветки. На словах г. Марков предпринимает уличить в противоречии двух людей, по его собственным словам, не имеющих между собой ничего общего. Задача по крайней мере легкая, если не плодотворная. Но истинная цель г. Маркова совсем не такова: ему нужно, напротив, доказать, что гр. Толстой и г. Цветков, эти представители совершенно противоположных лагерей, действующие разными орудиями и по разным побуждениям, суть люди одного и того же лагеря, действующие одними и теми же орудиями и по одним и тем же побуждениям. Это — уже несравненно труднейшая задача, и понятно, что разрешить ее нельзя без некоторого прелюбодеяния мысли, каковое г. Марков и совершает с удовлетворительным успехом. Г. Цветков категорически заявляет, что народное образование должно быть сдано на руки духовенства. Гр. Толстой чужд этой исключительности. Правда, он неоднократно рекомендует священно- и церковнослужителей как пригодных народных учителей, но пригодность их он видит единственно в том, что это учителя дешевые и находящиеся под рукой. Выражая сочувственный ему взгляд народа, он говорит, что учителем может быть «дворянин, чиновник, мещанин, солдат, дьячок, священник — все равно, только бы был человек

простой и русский». В другом месте гр. Толстой спрашивает от лица своих оппонентов: «Каковы же будут эти школы с богомольцами, богомолками, пьяными солдатами, выгнанными писарями и дьячками?» Такие перечисления в статье гр. Толстого встречаются не раз и не два. Их категорический, нимало не двусмысленный характер мог, кажется, гарантировать гр. Толстого от сплетения с его именем имени г. Цветкова. Я не говорю уже об общем тоне статьи, который настолько ясен, что даже г. Марков признает гр. Толстого противником не только господствующих в среде наших педагогов воззрений, а и «церковной педагоги». Тем не менее г. Марков, продолжая блистать и греметь, берет в руки решето просвещенного и сознательного либерализма и столь искусно просеивает вышеозначенные перечисления народных учителей, что из всех их налицо остается один дьячок. Правда, мимоходом г. Марков глумится и над писарями, и над солдатами, но в конце концов все-таки сводит дело к дьячку. Гр. Толстой полагает, что программа народного училища должна ограничиваться русским языком, славянским и арифметикой. Г-н Марков местами вычеркивает из этой программы все, кроме «славянской грамоты и счета», которые ставит даже в кавычках, дабы показать, что это подлинное требование гр. Толстого. Вы спросите — зачем эти мелочные, жалкие, дрянные передержки, надставки и просевания? Затем, что г. Маркову нужно смешать гр. Толстого с г. Цветковым, затем, что «славянская грамота и счет» составляют, как выражается г. Марков, дьячковскую программу, которую г. Марков желает навязать гр. Толстому. При помощи подобных, крайне нечистоплотных, манипуляций г. Марков подходит к вожделенному концу и с напряженным, деланным, фальшивым пафосом громит единовременно и гр. Толстого, и Цветкова, безразлично цитируя то одного, то другого. Таковы критические приемы людей просвещенного и сознательного либерализма... Они основываются на умысле пропустить или вставить в критикуемом произведении маленькое, совсем маленькое словечко, поставить кавычки не там, где следует, и т. п. Я начинаю думать, что сознательный и просвещенный либерализм достопочтенного г. Маркова состоит в полнейшей свободе перевирать чужие мысли и слова. Избави бог и нас от таких судий.

Гадко рыться в этом «гробе повапленном»³⁸, в этой систематизированной лжи, облеченной в полную парадную форму либерализма. Но две-три блески рассмотреть надо хотя бы потому, что некоторые якобы воззрения г. Маркова принадлежат не ему лично, а, так сказать, подслушаны им у гг. Евтушевского, Бунакова, Медникова и других возражателей гр. Толстого.

Гр. Толстой выразил мнение, что критерий педагоги состоит в свободе учащегося, что поэтому народ должен сам выработать программу своего образования. Верна ли эта мысль или нет — здесь для нас безразлично. Но вот как передает эту мысль г. Марков: «*Вечный* критерий педагоги в том, чтобы *наш мужик* выбирал, каким предметам нужно учить *человечество* в школе, и чтобы наш русский школьный учитель, *наш русский дьячок* сочинял каждый день экспромты в классе, как нужно учить этим предметам *человечество*». Эти геркулесовы столбы недобросовестности не требуют комментариев. Поучительнее следующие соображения сознательно либерального автора. Он уверяет, будто гр. Толстой так мотивирует законность предлагаемой им программы элементарного народного образования: «Гр. Толстой поучает нас, что русский мужик стоит за славянскую грамоту вовсе не для того, чтобы его сынишка мог выручить полтину за чтение псалтыря по покойнике: нет, народ вполне понимает педагогическое значение славянского языка, именно как мертвого языка, как организма вполне законченного, и за русскую грамоту вовсе не потому, что норовит своего мальчишку в писаря или в конторщики произвести. Удивительный народ гр. Толстого и счет понимает не как механическое орудие для некоторых отправлений своего хозяйства и своей торговли, вроде того как грабли он признает полезными для сгребания сена, а соху для пахоты. О, совершенно нет! Народ гр. Толстого «допускает две области знания, самые точные и не подверженные колебаниям от различных взглядов — языки и математику». Народ этот, видите ли, «*постиг*, что один мертвый, один живой язык, с их этимологическими и синтаксическими формами и литературой, и математика» — основы знания, «открывающие ему пути к самостоятельному приобретению всех других знаний». Остальные науки он «отталкивает как ложь» и (—) говорит: «Мне одно нужно знать — церковный и свой язык и законы чисел». Именно законы; это

стремление к «законам чисел» так естественно и поучительно во взглядах нашего русского мужичка!»

Я потому обращаю внимание читателя на эту тираду, что она фигурирует и у гг. Евтушевского, Медникова, Бунакова и пр. Г-н Марков только обдал ее соком просвещенного и сознательного либерализма, то есть сделал две-три подделки, излагая мысли гр. Толстого. Подчеркнутого мною слова «постиг» у гр. Толстого нет, а там, где у меня стоит знак (—), следовало бы вставить имеющиеся у гр. Толстого слова «как будто». Признаюсь, мне стыдно делать эти замечания, стыдно возиться с этими бесстыдными вставками и пропусками. Но что же делать, если г. Маркову не стыдно? Маленькие это словечки, но мал золотник, да дорог. Слово *не* еще меньше, но если г. Марков вычеркнет его из предложения «автор «Последних могижан» недобросовестен», то получит о своей персоне совершенно превратное понятие. Если бы гр. Толстой уверил, что народ постиг педагогическое значение законов чисел или славянского языка с его этимологическими и синтаксическими формами, то это был бы такой смешной вздор, из-за которого Мальбругу-Маркову³⁹ не стоило бы в поход ехать. Но дело в том, что гр. Толстой ничего подобного не утверждает. Он заявил факт, как я думаю, несомненный: народ желает знать русскую и славянскую грамоту и арифметику или счет. Желание это обусловлено его обстановкой, его практической жизнью. Удовлетворяя этому желанию, вы откроете народу «пути к самостоятельному приобретению всех других знаний». Народ, без сомнения, не понимает под арифметикой или счетом — изучение законов чисел, но ведь это не мешает арифметике быть именно наукою о законах чисел. А следовательно, ничего не мешает сказать: народ *как будто* понимает великое теоретическое значение математики. Программа начального образования выработана или, вернее сказать, выработалась из самой практической жизни, и теоретическими соображениями народ при этом не задавался. Гр. Толстой ее комментирует, вот и все. Ясно или нет?

Я должен, однако, с прискорбием сказать, что среди самых беззастенчивых фальсификаций и плоско-либеральной болтовни г. Маркова есть одно очень важное указание, и если бы он им только и ограничился, а «нравственную обязанность» перевернуть чужие слова оставил бы в стороне, то нельзя было бы не поблагода-

рить его. Г-н Марков делает много любопытнейших выписок из таких статей «Ясной Поляны», которые не вошли в собрание сочинений гр. Толстого и потому большинству теперешней читающей публики совершенно неизвестны. Я приведу только одну из этих выписок, правда большую, с сохранением курсивов г. Маркова, которые в этом случае являются вполне уместными и действительно бьющими в цель.

«...Общество в дер. Подосинках нашло своего учителя и на предложение мое заместить выбранного ими учителя другим объявило, что *не нуждается* в новом учителе и *своим доволен*. Учитель этот был *отставной дьячок*, уже 20 лет занимавшийся обучением детей... Он предложил *учить дешевле*, чем в других школах... Я посетил эту школу во время ее *цветения*. Когда мы вошли, все было тихо там; 24 мальчика, сидевшие с вырезными указками чинно вокруг длинного стола, *вдруг запели* на разные голоса. Во главе всех сидел сын огородника, *лет 16-ти*, в синем кафтане. Он запевал: «*надеющиеся на ны*»; сосед его, водя указкой по засаленной азбучке, пел: «слова под титлами: ангел, ангельский, архангел, архангельский»; и снова начиная: слова под титлами: ангел и т. д.; третий: «буки-арцы-аз-бра»; четвертый — «*премудрость*». Когда я вошел в избу, они закричали, потом встали. *Учителя не было*. Я спросил, зачем они встали? Они объяснили, что меня ждали и что так им было приказано. Я попросил их сесть и продолжать; все начали опять с тех же слов: «надеющиеся, слова под титлами» и т. д. Здесь я в первый раз видел классическую старинную школу»... Как устраиваются подобные школы, граф Толстой описывает на следующей странице: «Учитель устраивает стол, лавки, назначает время ученья, обыкновенно с *8-ми часов до сумерек*; отцы обязаны снабдить неграмотных детей азбуками, грамотных часовником или псалтырем, смотря по степени успеха. Весьма часто родитель покупает или достает *бог знает какую книжонку* вместо азбучки, иногда не может достать псалтыря, когда уже мальчик начал учить псалтырь, и ученик учит не то, что следовало ему учить по порядку курса. Так здесь я застал псалтырщика, *читающего уже всю выученную* наизусть азбуку, потому что единственный псалтырь был занят... Родители, приводя детей в школу или на дом к учителю, *всегда при ученике просят наказывать, бить* и говорят почти одну и ту же обычную фразу, имеющую целью вну-

шить мальчику страх и убедить в том, что родитель передает ему свою власть побоев над сыном... Входя в школу, все молятся богу, садятся за книги, вновь крестятся и целуют эти книги. *Книги для них есть божество вроде идолов у чувашей, которое они просят быть милостивым к ним.* Каждому задается стишок, который он должен выучить (стишок — строка или две)... Начинается то самое пение, которое я застал. *Учитель поручает старшему смотреть за порядком, сам же большею частью уходит.* Порядок состоит в том, чтобы каждый безостановочно продолжал кричать свои пять или шесть слов. Самый лучший из таких классических учителей в продолжение дня едва ли обойдет всех учеников, спросит заданный урок и задаст новый, то есть час времени в продолжение дня употребит на занятие со всеми. Обыкновенный же прием такого рода учителей состоит в том, чтобы поручать ученье старшему ученику, самому же *в продолжение недели заниматься с учениками много 3—4 часа.* Все такие учителя непременно завербовывают к себе в школу хотя одного грамотного под предлогом доучивать его, а в сущности, этот полуграмотный и есть учитель. Настоящий же учитель занимает только полицейскую должность *прикрикнуть, приударить, собрать деньги и изредка только указать и спросить урок.* Такими учителями очень часто бывают люди, почти целый день занятые посторонним делом, — *причетники, писаря, и таких-то учителей и вытекающую из их занятий методу* предлагают вышеприведенные указы консистории и циркуляры министерства внутренних дел о волостных училищах».

«Да, — прибавляет г. Марков, — и не только консистории, но и сам гр. Толстой, который в 1862 году удивлялся, *как можно предлагать* в учителя безграмотных и бесполезных причетников, целый день занятых *посторонним делом,* — в 1874 году удивляется, напротив, как можно обходить тех же самых причетников, оскорбляется, что этим «дешевым учителям» предпочитается «любимый тип» учителей, окончивших курс учительской школы, и хлопочет, чтобы вместо теперешних школ с правильно подготовленными наставниками были заводимы сотни школ, подобных подосинковской, у солдат, причетников и дворников, дешевле, чем по 2 рубля в месяц».

В других местах гр. Толстой выражается еще резче. Он называет «старинных учителей» палачами и живо-

дерами и говорит, что не видал еще старинного учителя — «кроткого человека и не пьяницу». Что касается до требований народа, то в той же «Ясной Поляне» гр. Толстой неоднократно говорил, что родители требовали, чтобы детей их били и ничему, кроме азбуки, не учили. «Что нам рихметика! — говорил один мужик гр. Толстому, — копейка за хлеб, копейка за лук, вот и вся рихметика. У нас солдат рихметики не учит, потому *знает, что не нужно*». Из школ, которые заводил гр. Толстой, дело шло успешно только в таких, «где учитель *на шаг не сдавался на требования крестьян*, а прямо говорил: «не нравится, возьми из школы и отдай солдатам»; где он толковал, что *я не пойду тебя учить, как пахать*, хоть ты и для меня бы пахал, *так и ты не учи меня, как учить*, хотя я и учу твоего сына, — *так понемногу крестьяне сдавались*». Я не имел возможности проверить цитаты г. Маркова, а из предыдущего видно, что почтенному писателю этому верить на слово нельзя. Может быть, он и тут нечто просеял и нечто прибавил. Но цитат этих слишком много, и есть же граница у всякой недобросовестности. Должно поэтому думать, что 12 лет тому назад гр. Толстой не возлагал надежд на солдат, прохожих, богомолков и причетников, которых ныне рекомендует в народные учителя, и относился к требованиям народа и его свободе выбирать программу образования не столь доверчиво, как теперь. Это уже не противоречие между гр. Толстым и г. Цветковым, что нимало не поучительно, это — противоречие гр. Толстого с самим собой, и притом не только противоречие его взглядов 1862 года со взглядами 1874 года, как думает г. Марков. Нет, гр. Толстой совершенно справедливо заявляет, что его основные воззрения со времен «Ясной Поляны» не изменились. Поэтому то, что является противоречием теперь, было и тогда противоречием.

Мы здесь имеем первый случай столкновения десницы гр. Толстого с шуйцей, которое (столкновение) есть только одно звено из целой цепи и может быть правильно оценено только в совокупности всех этого рода явлений литературной деятельности этого искренно и глубоко уважаемого мною писателя.

III

Как ни просты, как ни ясны соображения гр. Толстого о значении для народа явлений, которые принято называть прогрессивными, но приходят к ним сравнительно очень и очень немногие люди. И это совершенно понятно. «Мы все, вверху стоящие, что город на горе, дабы всем виден был» — естественно, должны принимать близко к сердцу казовую сторону цивилизации. Цивилизация разбудила в нас известные потребности и затем сама же удовлетворяет этим потребностям в известном порядке и в известной степени. Наслаждения умственной деятельностью, искусством, политической деятельностью, материальной обстановкой, созданной цивилизацией, так велики, так осязательны, что нам вполне естественно добиваться их и затем просто наслаждаться, когда они в той или другой мере добыты. Мы очень хорошо знаем цену, заплаченную за них нами самими, и именно поэтому даже не задаем себе вопроса: не оплачивает ли наши наслаждения еще кто-нибудь, кроме нас? А если он нам и представится, то мы невольно от него отмахиваемся, что даже очень удобно благодаря сложности и запутанности явлений жизни. Теперь, например, раздаются повсюду жалобы на оскудение беллетристических талантов. Критика напоминает Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, напоминает вторую серию больших талантов — Льва Толстого, Гончарова, Тургенева — и сетует, что источник наслаждения поэтическими произведениями как бы иссяк, не дает ничего нового и грозит даже совершенно высохнуть, как только неумолимая смерть унесет представителей прежнего, блестящего периода русской поэзии. Таланты есть и теперь, и, если бы мы не имели образцов талантов более сильных, мы были бы, может быть, совершенно довольны своим настоящим. Но в общем счете группы поэтов 20—30-х и затем 40-х годов, несомненно, примиряют над всем, что народилось лучшего в последние пятнадцать-двадцать лет. Из новейших беллетристов — у кого не хватает выдержки и законченности, у кого — тонкости понимания и изящества кисти, словом, все так или иначе с изъяном, все не дают нам тех наслаждений, которые мы уже имели случаи испытывать. Представим себе теперь, что нижеследующее объяснение этого прискорбного явления вполне верно: поэты двадцатых — сороковых годов бы-

ли хоть и не очень богатые люди, но все-таки в большинстве случаев помещики, обеспеченные крепостным правом. Они имели полную возможность развивать свои таланты на досуге, учиться более или менее пристально сызмала, посещать заграничные университеты, исполнять рецепт Гоголя, по которому следует написать повесть и дать ей «отлежаться» с год, потом переписать ее и опять отложить и т. д., до восьми раз. При такой обстановке ни одна случайная искра духовного интереса не могла пропасть совсем даром и должна была преимущественно разгораться пламенем поэтического таланта, ибо поэзия составляла чуть не единственное более или менее свободное поприще умственной деятельности. Ныне талантов нарождается, может быть, и не меньше, но одни совсем затираются беспощадной борьбой за существование, так что и не показываются даже, а другие недоразвиваются. Возвратите крепостное право или подождите, пока вырастут и окрепнут, то есть передадутся несколько раз по наследству большие промышленные капиталы, и русская беллетристика опять расцветет. Я очень хорошо понимаю, что это объяснение далеко не полное, но думаю, что оно в значительной степени верно. Положим, что мне удалось бы доказать это со всею возможною в такого рода вопросах точностью. Как бы вы приняли эту диссертацию, мой благосклонный читатель? Если бы вы были крепостником, вы бы одобрительно промычали и сказали бы: ну вот, я всегда это говорил! Если бы вы были чем-нибудь вроде г. Скальковского⁴¹, вы сказали бы, что к крепостному праву возврата нет, но поставить поэзию в зависимость от капитала — не вредно. Если бы вы были не крепостником и не г. Скальковским, а только русским Ренаном, г. Страховым, вы бы сказали: конечно, «пот многих есть необходимое условие развития немногих», и хоть крепостное право омерзительно, но нужно что-нибудь этакое — «фантастическое и неопределенное, долженствующее произвести на зрителя легкое, но приятное впечатление», как говорится в афишах фокусников. Крепостник и г. Скальковский для нас здесь нимало не интересны, ибо речь идет о поэзии, до которой им дела нет. Г-н Страхов, конечно, интереснее, ибо он способен наслаждаться поэзией и знает цену этому наслаждению. Он действительно может потребовать чего-нибудь «фантастического и неопределенного» единственно ради интересов русской литературы и — мало того — спосо-

бен сказать это смело, публично. Но гг. Страховы очень редки в природе. Большинство моих благосклонных читателей, я полагаю, не решатся заявить симпатии к «фантастическому и неопределенному», отчасти похожему, а отчасти совсем не похожему на крепостное право; не решатся заявить не только публично, другим, а и внутри себя, сами себе. Да, господа, как бы ни были убедительны мои доводы, хоть бы вы под них не сумели иголки подточить, вы не то что не согласились бы со мной, а не хотели бы согласиться. Вам было бы больно, обидно признать, что, может быть, чистейшие ваши наслаждения выросли при помощи такого удобрения, как крепостное право; до такой степени больно, что вы отогнали бы от себя эту мысль, как пискливого комара, не дающего спокойно заснуть. Но если бы, продолжая гипотезу неопровержимой точности моих доказательств, вы и согласились со мной, вам было бы в высокой степени трудно долго удержаться на рекомендуемой точке зрения, и вы бы, может быть, пропустили, не поморщившись, например следующие строки статьи «Современная бездарность», напечатанной в № 5 «Дела» (мне неизвестно, принадлежат ли эти строки автору статьи, или Гальтону⁴², о книге которого статья трактует, но это все равно): «Нынче, как всегда, хозяйство на человеческие силы (?) совершенно в пренебрежении, и все обычаи и строй жизни клонятся не к тому, чтобы увеличивать массу людей (?) и массу мыслящего мозга, а к тому, чтобы их уменьшить. Любопытнейший факт этого рода представляет Древняя Греция. Нигде и никогда не было такой массы выдающихся гениальных людей, как в Аттике. Миллионы европейцев в течение двух тысяч лет не произвели ничего подобного Сократу, Периклу, Фидию, и даже величайший европеец — лорд Бэкон едва равняется второстепенному человеку древности — Платону. Если бы порода древних греков могла сохраниться, распространиться и размножиться по другим странам, в этом бы заключалось величайшее благо для всей последующей цивилизации, и размер этого блага мы даже не в состоянии себе вообразить. Но общественная нравственность древнего мира крайне извратилась. Браков избегали, потому что они вышли из моды, многие из самых честолюбивых и образованных женщин открыто вели распутную жизнь и потому не имели детей, а матери будущих поколений принадлежали к классам общества менее интеллектуальным».

Эти строки дали вам, без сомнения, много пищи для размышлений, очень интересных. Так, вы размышляли, может быть, об том, есть ли какие-нибудь основания для признания Бэкона величайшим европейцем, Платона — второстепенным человеком древности, а Перикла — не превзойденным никем в последующие века; об том, возможно ли и вообще какое-нибудь основание для подобных сравнений; об том, хорошо или дурно, что честолюбивейшие из гречанок не имели детей, и т. п. Но весьма вероятно, что вы, как и автор приведенных строк, совершенно упустили из виду одно немаловажное и уже несомненное — не то что мое объяснение расцвета и оскудения русской поэзии — обстоятельство: «более интеллектуальные» классы общества афинского, все эти Сократы, Платоны, Фидии и Периклы взросли на рабстве и сами открыто признавали институт этот необходимым условием своего блеска. Вы не задавали себе вопроса: как отразились бы на последующей цивилизации сохранение и распространение «породы древних греков» с точки зрения этой коренной ее складки? Почему вы не задали себе этого вопроса? Во-первых, потому, что вам, как образованному человеку, мудрый Сократ и изящнейший Фидий несравненно ближе, чем темная масса «менее интеллектуальных» греческих рабов. Во-вторых, потому, что Сократ и Фидий и сами по себе заметнее, ярче темной массы. В-третьих, наконец, потому, что связь Сократа и Фидия с рабством производит столь неприятное, отталкивающее впечатление, что вы инстинктивно его избегаете.

Заметьте, благосклонный читатель, что я об вас не дурного, а, напротив, очень хорошего мнения: я предполагаю, что связь мудрости Сократа и искусства Фидия с рабством или высокого поэтического таланта гр. Л. Н. Толстого с крепостным правом производит на вас обидное, отталкивающее впечатление. Но некоторые из читателей имеют, вероятно, право на еще лучшее о них мнение. Потому ли, что они вышли из рядов темной массы, на себе испытывающей невидную сторону блеска цивилизации; потому ли, что они люди очень большого ума, не позволяющего им отворачиваться даже от неприятной истины; потому ли, наконец, что они случайно одарены тонкой и восприимчивой нравственной организацией, но они признают факт означенной связи, и признают не на манер крепостника или г. Страхова. Для таких людей возникает ряд очень мучи-

тельных вопросов. Сократ мудр, Фидий прекрасен, но взрастившее их рабство омерзительно. Можно ли разорвать ненавистную, связывающую их цепь? Или надо признать эту связь фатальной и отказаться от надежды обладать философией и искусством? Или, напротив, продолжать плодить мысль и красоту на почве чистого рабства или одного из его видоизменений? Если я, «интеллектуальный» человек, сознаю, что интеллект мой и все связанные с ним наслаждения куплены ценою «пота многих», то каково должно быть мое поведение? Отказаться от интеллектуальных наслаждений я не могу, признать их происхождение безгрешными — тоже не могу.

Повторяю, очень немногие способны задать себе эти вопросы не потому, чтобы их постановка представляла какие-нибудь непреодолимые логические трудности; напротив, логически они крайне просты, но потому, что тут становится поперек дороги весь склад нашей жизни, все наше воспитание, все привычные, ежедневные впечатления. Даже die Wenigen, die was davon erkannten *, не могут пройти весь свой жизненный путь твердым, уверенным шагом и почти неизбежно впадают в ряд противоречий. Не избежал этих противоречий и гр. Толстой. Я этому не удивляюсь. В статье г. Маркова упоминается, что он богатый помещик; из романов его явствует, что он коротко знает высший свет и, вероятно, имеет с ним многосторонние и прочные связи; он очень тонкий художник и так горячо говорит об искусстве, что должен придавать эстетическому наслаждению высокую цену. И этому-то человеку, имеющему возможность наслаждаться всеми лучшими благами цивилизации, совокупность каких-то неизвестных нам обстоятельств вложила в голову мысли, изложенные мною выше. Если бы такие мысли пришли в голову человеку, лично неспособному или материальною обстановкою лишенному возможности вкушать плоды цивилизации, то тут не было бы ничего удивительного. И обойтись без противоречий такому человеку было бы весьма легко. Например, человек, по своей собственной вине или по вине обстоятельств невежественный или лишенный потребности познания, может весьма последовательно, ни разу в жизни себе не противореча, отрицать знание, поскольку оно отрицается точкою зрения гр. Толстого. Но

* Те немногие, которые об этом знают (нем.)⁴³. — Ред.

сам гр. Толстой находится в совершенно ином положении. Возьмем его литературную деятельность. Он — блестящий писатель, пользующийся громадною известностью, он — художник, то есть творец, и, несомненно, глубоко наслаждается актом поэтического творчества, он издавал журнал и печатал в других журналах и отдельными изданиями свои произведения. Между тем он пришел к следующим воззрениям на книгопечатание:

«Для меня очевидно, что расплождение журналов и книг, безостановочный и громадный процесс книгопечатания был выгоден для писателей, редакторов, издателей, корректоров и наборщиков. Огромные суммы народа косвенными путями перешли в руки этих людей. Книгопечатание так выгодно для этих людей, что для увеличения числа читателей придумываются всевозможные средства: стихи, повести, скандалы, обличения, сплетни, полемика, подарки, премии, общества грамотности, распространения книг и школы для увеличения числа грамотных... Но ежели число журналов и книг увеличивается, ежели литература так хорошо окупается, то, стало быть, она необходима, скажут мне наивные люди. Стало быть, откупа необходимы, что они хорошо окупались? отвечу я... Литература, так же как и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа... У нас есть разные журналы (гр. Толстой перечисляет тогдашние журналы), есть сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды. Я говорил уж об опытах, деланных мною для привития нашей общественной литературы народу. Я убедился, в чем может убедиться каждый, что для того, чтобы человеку из русского народа полюбить чтение «Бориса Годунова» Пушкина или историю Соловьева, надо этому человеку перестать быть тем, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям. Наша литература не прививается и не привьется народу — надеюсь, люди, знающие народ и литературу, не усомнятся в этом... Всякий добросовестный судья, не одержимый верою прогресса, признается, что выгод книгопечатания для народа не было... Но скажут, может быть, признавая мои доводы справедливыми, что прогресс книгопечатания, не принося прямой выгоды народу, содействует его

благосостоянию тем, что смягчает нравы общества; что разрешение крепостного вопроса, например, есть только произведение прогресса книгопечатания. На это я отвечаю, что смягчение нравов общества еще нужно доказать, что я лично его не вижу и не считаю нужным верить на слово. Я не нахожу, например, чтобы отношения фабриканта к работнику были человечнее отношений помещика к крепостному... Главное же, что я имею сказать против такого аргумента, есть то, что, взяв в пример хотя бы освобождение от крепостного права, я не вижу, чтобы книгопечатание содействовало его прогрессивному разрешению. Ежели бы правительство в этом деле не сказало своего решительного слова, то книгопечатание, без сомнения, разъяснило бы дело совершенно иначе. Мы видели, что большая часть органов требовала бы освобождения без земли и приводила бы доводы, столь же кажущиеся разумными, остроумными, саркастическими. Прогресс книгопечатания, как и прогресс электрических телеграфов, есть монополия класса общества, выгодная только для людей этого класса, которые под словом «прогресс» понимают свою личную выгоду, вследствие того всегда противоречащую выгоде народа. Мне приятно читать журналы от праздности, я даже интересуюсь Оттоном, королем греческим. Мне приятно написать или издать статейку и получить по телеграфу известие о здоровье моей сестрицы и знать наверное, какой цены я должен ожидать за свою пшеницу. Как в том, так и в другом случае нет ничего предосудительного в удовольствиях, которые я при этом испытываю, и в желаниях, которые я имею, чтобы удобства к такого рода удовольствиям увеличивались, но совершенно несправедливо будет думать, что мои удовольствия совпадают с увеличением благосостояния всего человечества» (Сочинения, т. IV, 192 и след.).

Я не скуплюсь на выписки из IV тома сочинений гр. Толстого как потому, что мне нужна самая точная передача его мыслей, так и потому, что излагаемые мною воззрения гр. Толстого, я уверен, совершенно неизвестны огромному большинству моих читателей. Так прочно установилась каким-то чудом его репутация как плохого мыслителя, что IV том его сочинений, в котором собраны педагогические статьи, мало кем читается, несмотря на то, что там есть страницы даже в чисто художественном отношении превосходящие, может быть,

все написанное гр. Толстым. Между тем именно в этом томе следует искать ключа ко всей литературной деятельности нашего знаменитого романиста. Всякий писатель может подвергаться и подвергается крайне разноречивым суждениям, во-первых, потому, что судьи обладают различными степенями критической способности, во-вторых, потому, что они держатся различного образа мыслей. Но относительно гр. Толстого существует еще третья и поистине удивительная причина: несмотря на всю свою известность, он неизвестен. Будем же изучать его.

Я прошу читателя серьезно вдуматься в душевное состояние писателя, пришедшего к вышеприведенным воззрениям на книгопечатание и литературу,— писателя не ради куска хлеба и не по каким-нибудь случайным обстоятельствам, а такого, как гр. Толстой, то есть писателя по призванию, неудержимо гонимого на литературное поприще избытком творческой силы. Положение истинно трагическое. Гр. Толстой совершенно справедливо говорит, что нет ничего предосудительного в желании написать статейку и получить за нее деньги и известность. Конечно, это времяпровождение само по себе нимало не предосудительно. Но гр. Толстой знает, что этим именно непредосудительным путем «огромные суммы народа перешли в руки» лиц, прикосновенных к литературе и книгопечатанию; что так именно слагается вся литература, эта «искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа». Человеку, не напечатавшему во всю жизнь ни одной строки или писателю, пишущему не по внутренней потребности делиться с читателями возникающими в нем мыслями и образами,— легко сказать то, что говорит гр. Толстой. С другой стороны, есть много людей, совершающих ужасные преступления и тем не менее спокойных душой, потому что их действия для них не суть преступления, они не сознают их преступности. Словом, когда сознание и потребности находятся тем или другим способом в равновесии, жить легко. Гр. Толстой, напротив, ясно сознает, что литература есть один из видов эксплуатации народа, и тем не менее участвует в ней и не может не участвовать, потому что как вечному жиду таинственный голос не уставал говорить: иди, иди, иди, так и гр. Толстому внутренний голос, голос его богато одаренной природы не устает говорить: пиши, пиши, пиши! Это столкновение неудер-

жимой потребности с неумолимым сознанием составляет драму, перипетии которой должны быть тщательно изучены каждым желающим получить правильное понятие о литературной деятельности гр. Толстого. Я не намерен трактовать об «Анне Карениной», во-первых, потому, что она еще не кончена, во-вторых, потому, что об ней надо или много говорить, или не говорить. Скажу только, что в этом романе несравненно поверхностнее, чем в других произведениях гр. Толстого, но, может быть, именно вследствие этой поверхностности, яснее, чем где-нибудь, отразились следы совершающейся в душе автора драмы. Спрашивается, как быть такому человеку, как ему жить, как избежать той отравы сознания, которая ежеминутно вторгается в наслаждение удовлетворенной потребности? Без сомнения, он хотя бы инстинктивно должен изыскивать средства покончить внутреннюю душевную драму, спустить занавес, но как это сделать? Я думаю, что если бы в таком положении мог очутиться человек дюжинный, он покончил бы самоубийством или беспробудным пьянством. Человек недюжинный будет, разумеется, искать других выходов, и таких представляется не один. Гр. Толстой испробовал, кажется, их все. Но вместе с тем мы видим целый ряд очень естественных колебаний в самых этих пробах и ряд отклонений от основной (может быть, не вполне сознаваемой самим автором) задачи. Задача эта состоит в том, чтобы, оставаясь писателем, перестать участвовать в «искусной эксплуатации» или по крайней мере как-нибудь вознаградить народ за эту эксплуатацию. Есть для этого прямой путь — стать чисто народным писателем, внести свою лепту в создание литературы, которая могла бы «привиться» народу. Но даже при наличности всех других благоприятных условий, это — дело крайне трудное в техническом отношении. Гр. Толстой испробовал, впрочем, хотя отчасти, и этот путь несколькими рассказами и статейками, вошедшими в «Азбуку». Здесь кстати будет сделать следующее замечание. Я уже говорил, что взгляды гр. Толстого на различные «явления прогресса», при несомненно глубокой и оригинальной точке зрения, часто слишком просты и, так сказать, прямолинейны для того, чтобы вполне соответствовать сложной и запутанной действительности. Этою излишнею простотою страдает и его взгляд на литературу и книгопечатание. Что теперешняя наша литература, вообще говоря, не прививается

и не привьется народу, это верно. Существуют, однако, исключения. Я не буду об них распространяться и укажу только на самого гр. Толстого, который напечатал рассказ «Кавказский пленник» сначала в журнале «Заря», то есть для «общества», а потом в «Азбуке», то есть для народа. Может быть, «Кавказский пленник» и, помнится, еще один рассказ были напечатаны в «Заре» только как образцы рассказов для народа. Но есть и другие этого рода примеры. Наша критика (то есть часть «общества») весьма много хвалила и хулила, вообще обсуждала солдата Платона Каратаева в «Войне и мире» — роман этот написан, конечно, не для народа, — между тем очень характерный рассказ Каратаева о невинно сосланном на каторгу купце вошел в «Азбуку» под заглавием «Бог правду видит, да не скоро скажет». Во всяком случае, деятельность гр. Толстого как народного писателя поглотила сравнительно ничтожную долю его сил. Нам, «обществу», он дал «Детство и отрочество», «Войну и мир», а народу не дал как писатель, конечно, ничего даже отдаленно похожего на что-нибудь равноценное. Это зависит прежде всего от того, что ему представился другой и тоже прямой путь служения народу, — деятельность педагогическая, к которой его толкнул другой дар природы — «педагогический такт». Этот педагогический такт гр. Толстой и сам знает за собой, да об нем свидетельствует и г. Марков, ссылающийся на свое личное знакомство с ведением дела в школе гр. Толстого. Но о педагогической деятельности гр. Толстого речь пойдет ниже. Однако народным писателем гр. Толстой не сделался, я думаю, не только потому, что нашел в педагогии иной способ отплаты за эксплуатацию, в которой он участвует наравне с другими писателями. Тут есть и другая причина. Круг его умственных интересов и слишком широк, и слишком узок для роли народного писателя. С одной стороны, он владеет запасом образов и идей, недоступных народу по своей высоте и широте. С другой стороны, он, как человек известного слоя общества, слишком близко принимает к сердцу мелкие, узкие радости и тревоги этого слоя, слишком ими занят, чтобы отказаться от поэтического их воспроизведения. Забавы аристократических салонов и бури дамских будуаров, несмотря на все их ничтожество, очевидное для самого графа Толстого, очень его интересуют. Эти интересы — новый элемент совершающейся в его душе

драмы — мешают ему не только быть народным писателем, но и идти по другому, косвенному пути к примирению потребности поэтического творчества с сознанием некоторой его греховности. В самом деле, редко кому дано счастье уметь писать для народа — я называю это счастьем хотя бы уже потому, что иметь миллионы читателей приятнее, чем тысячи или сотни,— гр. Толстой может и не обладать нужными для этого силами и способностями. Но раз он уверен, что нация состоит из двух половин и что даже невинные, «непредосудительные» наслаждения одной из них клонятся к невыгоде другой — что может мешать ему посвятить все свои громадные силы этой громадной теме? Трудно даже себе представить, чтобы какие-нибудь иные темы могли занимать писателя, носящего в душе такую страшную драму, какую носит в своей гр. Толстой: так она глубока и серьезна, так она захватывает самый корень литературной деятельности, так она, казалось бы, должна глушить всякие другие интересы, как глушит другие растения цепкая повилка. И разве это недостаточно высокая цель жизни: напоминать «обществу», что его радости и забавы отнюдь не составляют радостей и забав общечеловеческих; разъяснять «обществу» истинный смысл «явлений прогресса»; будить хоть в некоторых, более восприимчивых натурах сознание и чувство справедливости? И разве на этом обширном поле негде разгуляться поэтическому творчеству? Гр. Толстой много и сделал в этом направлении. Противопоставлением двух означенных половин в «Казаках», севастьяпольских очерках, во многих местах «Войны и мира», в «Утре помещика» и др. он доставил много хорошей духовной пищи общественному сознанию. Сюда же относятся его педагогические статьи и самое издание журнала «Ясная Поляна», который, будучи продуктом книгопечатания и, следовательно, «искусной эксплуатации», тем не менее, наверное, вносил мир в совесть гр. Толстого. Нельзя того же сказать о тщательном изучении и изображении радостей и тревог аристократических салонов и бурь дамских будуаров. Надеюсь, читателю понятно, что эта тема удовлетворяет только потребность творчества гр. Толстого, причем он должен сознавать, что уклоняется от жизненного пути, представляющегося ему правильным, или по крайней мере должен сознавать, что идет путем неправильным. Правда, он тут получает удовлетворение и как человек

известного слоя общества, которому, может быть, не чуждо и все человеческое, но в особенности близки интересы, чувства и мысли именно этого слоя. Это — так, но в этом-то и состоит отклонение от пути, признаваемого гр. Толстым правильным, тут-то и начинается его *шуйца*, что опять-таки должно быть ему самому яснее, чем кому-нибудь. В самом деле, что значит предавать тиснению тончайший и подробнейший анализ различных перипетий взаимной любви Анны Карениной и флигель-адъютанта графа Вронского или истории Наташи Безуховой, пée * графини Ростовской, и т. п.? Говоря словами самого гр. Толстого, обнародование во многих тысячах экземпляров анализа, например, ощущений графа Вронского при виде переломленного хребта любимой его лошади само по себе не составляет «предосудительного» поступка. Ему «приятно получить за это деньги и известность», а нам, «обществу», не всему, конечно, а преимущественно светским людям и кавалеристам, очень любопытно посмотретья в превосходное художественное зеркало. Когда дело идет о героях произведений г. Тургенева, колеблющихся между юною и неопытною девою, с одной стороны, и страстным, стремительным демоном в юбке — с другой, о душевном состоянии автора не может быть и разговора: оно прозрачно, как кружева страстного демона и цвет лица юной девы, ибо г. Тургенев не смущен воззрениями гр. Толстого на роль книгопечатания и литературы. Но гр. Толстой имеет эти воззрения. Поэтому ему, должно быть, крайне обидно слышать похвалы людей вроде критиков «Русского вестника», «Русского мира» и «Гражданина», которые уверены, что, как выразился один из них, «литература ничем другим не может питаться, как интересами образованного круга, потому что они одни только суть истинные национальные интересы в форме сознательной и приуроченной к интересам цивилизации» («Русский вестник», 1874, № 4, статья о «Пугачевцах» гр. Сальяса). Конечно, это только мое предположение, что гр. Толстому обидно слышать эти похвалы, но предположение, кажется, весьма вероятное. Другой из этих пещерных критиков заявил, что герои «Анны Карениной» суть «люди, сохраняющие среди новых общественных наслоений лучшие предания культурного общества». Эти

* Урожденной (фр.).— Ред.

несчастные не знают, что, по мнению гр. Толстого, «в поколениях работников («новые общественные наслоения») лежит и больше силы, и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров, профессоров и лордов» («культурное общество»). Эти несчастные не подозревают, что для гр. Толстого «требования народа от искусства законнее требований испорченного меньшинства так называемого образованного класса»; что для гр. Толстого не то что гр. Сальяс с своими «Пугачевцами», а такие великаны, как Пушкин и Бетховен, не стоят песни о «Ваньке-кдюшничке» и напева «Вниз по матушке по Волге» (Сочинения, т. IV, 380). Эти несчастные не понимают, что то, что им нравится в гр. Толстом, есть только его *шуйца*, печальное уклонение, *невольная* дань «культурному обществу», к которому он принадлежит. Они бы рады были из него левшу сделать, тогда как он, я думаю, был бы счастлив, если бы родился без шуйцы. Повторяю, я только предполагаю, что гр. Толстому, должно быть, обидно слышать похвалы пещерных людей, которые (похвалы) относятся только к его шуйце. Но мне лично всегда бывает обидно за гр. Толстого, когда я вижу усилия, и небезуспешные, пещерных людей замарать его своим нравственным соседством. Обидно не потому, что я сам желал бы стоять рядом с гр. Толстым, хотя, разумеется, и это привлекательно, но потому, что, марая его своим нечистым прикосновением, они отняли у общества чуть не всю его десницу. Почему читающей публике решительно неизвестны истинные воззрения гр. Толстого? Отчего они не коснулись общественного сознания? Много есть тому причин, но одна из них, несомненно, есть нравственное соседство пещерных людей, холопски, то есть с разными привираниями и умолчаниями, лобызаящих шуйцу гр. Толстого. Я на себе испытал это. Я поздно познакомился с идеями гр. Толстого, потому что меня отгоняли пещерные люди, и был поражен, увидав, что у него нет с ними ничего общего. Полагаю, что это не исключение, а общее правило.

Драма, совершающаяся в душе гр. Толстого, есть тоже моя гипотеза, но гипотеза законная, потому что без нее нет никакой возможности свести концы его литературной деятельности с концами. Гипотеза же эта объясняет мне все.

Члены, употребляя терминологию гр. Толстого, «общества», или, говоря языком пещерных людей,

«культурного общества», представляются нашему автору людьми испорченными, исполненными лжи, мелкими даже в лучших проявлениях их духа. Он говорит, например: *«страшно сказать: я пришел к убеждению, что все, что мы сделали по этим двум отраслям (по музыке и поэзии), все сделано по ложному, исключительному пути, не имеющему значения, не имеющему будущности и ничтожному в сравнении с теми требованиями и даже произведениями тех же искусств, образчики которых мы находим в народе. Я убедился, что лирическое стихотворение, как, например, «Я помню чудное мгновенье», произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о «Ваньке-кдюшничке» и напев «Вниз по матушке по Волге»;* что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости». Несколько раньше в той же статье («Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы») читаем: «Картина Иванова возбудит в народе только удивление пред техническим мастерством, но не возбудит никакого, ни поэтического, ни религиозного, чувства, тогда как это самое поэтическое чувство возбуждено лубочного картинкой Иоанна Новгородского и черта в кувшине. Венера Милосская возбудит только законное отвращение пред наготой, пред наглостью разврата — стыдом женщины. Квартет Бетховена последней эпохи представится неприятным шумом, интересным разве только потому, что один играет на большой дудке, а другой на большой скрипке. Лучшее произведение нашей поэзии, лирическое стихотворение Пушкина, представится набором слов, а смысл его презренными пустяками. Введите дитя народа в этот мир, вы это можете сделать и постоянно делаете посредством иерархии учебных заведений, академий и художественных классов, он почувствует и прочувствует искренно и картину Иванова⁴⁴, и Венеру Милосскую, и квартет Бетховена, и лирическое стихотворение Пушкина. Но, войдя в этот мир, он будет дышать уже не всеми легкими, уже его болезненно и враждебно будет охватывать свежий воздух, когда ему случится вновь выйти из него».

Я мог бы привести десятки подобных цитат и даже жалею, что литературные приличия и недостаток места

мешают мне перепечатать целую треть IV т. сочинений гр. Толстого. Может показаться, что приведенные строки, как и многие другие, опять-таки сближают гр. Толстого с славянофилами: те ведь тоже доказывали, что добро, правда и красота живут только в народе, мы же, цивилизованные люди, со времен Петра питаемся злом, ложью и безобразием. На самом деле разница между гр. Толстым и славянофилами громадна и здесь. Ему *страшно сказать* то, что он говорит, и ему действительно должно быть страшно, потому что сам он не может отказаться от Иванова и Бетховена и променять картину Иванова на лубочную картинку Иоанна Новгородского и черта в кувшине. Последняя, как он замечает, «замечательна по силе религиозно-поэтического чувства», но «уродлива» — удовлетворить его, значит, она не может. Славянофилы были уверены, что они, такие-то, Хомяков или Аксаков, не только поняли величие народных идеалов, но слились или по крайней мере во всякую данную минуту могут слиться с народом во всех своих воззрениях религиозных, поэтических, политических и проч. Гр. Толстой смотрит на дело гораздо глубже, искреннее и правее. Он помнит, что и сам он захвачен волной цивилизации и что нет у него силы уйти от нее, как нет ее у героя «Казачков» Оленина, нет у героя «Анны Карениной» Константина Левина, нет у героя «Утра помещика» Нехлюдова и проч. Частое повторение этого драматического мотива в произведениях гр. Толстого очень характерно — он, этот мотив, переживается им самим в жизни, в действительности. Часто гр. Толстого ставят рядом с г. Тургеневым и вдвигают его героев в ряд надломленных, бесхарактерных людей, ведущих свое родословное дерево, кажется, с Евгения Онегина. Оно отчасти, может быть, и верно, но гр. Толстой рисует этих людей в такой обстановке и в такие моменты их жизни, которые не приходили в голову ни одному из наших крупных романистов. В этом-то и состоит глубокая оригинальность его как беллетриста. Он не предается фальшивой идеализации удальца, вора и пьяницы Лукашки, которому завидует Оленин, или ямщика Илюшки, по поводу которого Нехлюдов размышляет: зачем я не Илюшка! или того народа, жизнью которого так хочет и так не может жить Константин Левин. Даже в знаменитом Платоне Каратаеве, затасканном нашей критикой, я не вижу фальшивой идеализации, как не вижу ее в признании лубочной картинку уродливого,

но полную религиозно-поэтического чувства. Но автор ставит дело так, что во всех этих грубых и невежественных детях народа оказывается нечто достойное зависти людей образованных и тонко развитых. Что это за нечто и почему гр. Толстой стоит на нем так упорно? Я думаю, что устами Нехлюдова, Оленина, Левина и проч. гр. Толстой сам завидует Лукашкам и Илюшкам, потому что у Илюшек и Лукашек светлее, тише в душе, чем у него, гр. Толстого; светлее и тише не только потому, что они — люди грубые и невежественные, а и потому, что они не виноваты, например, перед автором «Войны и мира» и «Анны Карениной», а он перед ними виноват: он участвовал и участвует в «искусной эксплуатации», совершающейся при посредстве книгопечатания, телеграфов, железных дорог и других «явлений прогресса». Фальшивое положение, в котором находится автор «Войны и мира», «Анны Карениной» (не он один, конечно), немислимо для Лукашек и Илюшек, а это, конечно, должно гарантировать этим грубым и невежественным людям некоторое превосходство над блестящим и тонкоразвитым писателем. С другой стороны, превосходство над ними гр. Толстого тоже не может подлежать сомнению. В чем же дело? Нам ответит сам гр. Толстой словами, сказанными им по отношению к детям, но, очевидно, справедливыми и относительно Лукашек и Илюшек.

Воспитывая, образовывая, развивая или как хотите действуя на ребенка, мы должны иметь и имеем бессознательно одну цель: достигнуть наибольшей гармонии в смысле правды, красоты и добра. Если бы время не шло, если бы ребенок не жил всеми своими сторонами, мы бы спокойно могли достигнуть этой гармонии, добавляя там, где нам кажется недостаточным, и убавляя там, где нам кажется лишним. Но ребенок живет, каждая сторона его существа стремится к развитию, перегоня одна другую, и большею частью *самое движение вперед этих сторон его существа мы принимаем за цель и содействуем только развитию, а не гармонии развития...* Большею частью воспитатели выпускают из виду, что детский возраст есть первообраз гармонии, и развитие ребенка, которое независимо идет по неизменным законам, принимают за цель... Воспитатели как будто об одном только стараются, как бы не прекратился процесс развития, и если думают о гармонии, то всегда стараются достигнуть ее, приближаясь к неизвестному

для нас первообразу в будущем, удаляясь от первообраза в настоящем и прошедшем. Как бы ни неправильно было развитие ребенка, всегда еще остаются в нем первобытные черты гармонии. Еще умеряя, по крайней мере не содействуя развитию, можно надеяться получить хоть некоторое приближение к правильности и гармонии. Но мы так уверены в себе, так мечтательно преданы ложному идеалу взрослого совершенства, так нетерпеливы мы к близким нам неправильностям и так твердо уверены в своей силе исправить их, так мало умеем понимать и ценить первобытную красоту ребенка, что мы скорей, как можно скорей раздуваем, залепляем кидаящиеся нам в глаза неправильности, исправляем, воспитываем ребенка... *Идеал наш сзади, а не спереди* (курсив гр. Толстого). Учить и воспитывать ребенка нельзя и бессмысленно по той простой причине, что ребенок стоит ближе меня, ближе каждого взрослого к тому идеалу гармонии правды, красоты и добра, до которого я в своей гордости хочу возвести его. Сознание этого идеала лежит в нем сильнее, чем во мне. Ему нужен от меня только материал для того, чтобы пополняться гармонически и всесторонне (т. IV, 250).

В этом рассуждении есть очень важный недосмотр, значительно колеблющий все рассуждение, именно: недосмотр закона наследственности. Гр. Толстой полагает, что слово Руссо — человек родится совершенным — «есть великое слово и, как камень, останется твердым и истинным». К сожалению, это совсем не верно. Камень давно рассыпался, ибо сын сифилитика родится не совершенным, а сифилитиком, сын идиота имеет много шансов сделаться не совершенством, а слабоумным, сын дряблого барича — не совершенством, а дряблым баричем и проч. Однако известная доля истины все-таки заключается в рассуждении гр. Толстого, потому что сын, например, дряблого барича все-таки имеет возможность развиваться правильнее, «гармоничнее» своего отца, и дисгармония его физических и духовных сил не имеет такого резкого, законченного характера, как у взрослого. Я, впрочем, не на это хочу обратить внимание читателя. Пусть он подставит в приведенном рассуждении вместо «взрослого» человека — человека цивилизованного, члена «общества», хоть самого гр. Толстого, а вместо ребенка — народ, и он получит очень точное понятие о воззрениях гр. Толстого на отношение цивилизованных людей к Лукашкам и Илюш-

кам. Лукашка и Илюшка сравнительно с нами — люди отсталые. Но для гр. Толстого и в этом отношении идеал не впереди нас, а сзади. Г-н Марков или иной какой-нибудь яснолобый либерал сочтет себя, конечно, вправе по этому случаю патетически заготовить: так вот куда нас приглашают эти друзья народа! они предлагают нам обратиться в забубённых Лукашек, вместо того чтобы этим самым Лукашкам дать питательную и вкусную духовную пищу! Под маской любви к народу они желают оставить его в состоянии, мало чем отличающемся от состояния дикарей! Но поздно спохватились, господи! Народ сам понимает, что ему нужен свет, и не поддастся на эту удочку! И проч., и проч., и проч., листов приблизительно на пять печатных с площадными островами и патетическими завываниями. Но все это яснолобый либерал прогогочет совершенно втуне. Втуне пропотеет он над отшлифовкой своего пафоса и остроумия, ибо, несмотря на высокий стиль и благородное, хотя и деланное негодование, все его фразы далеко не стоят истраченной им бумаги, исписанных им чернил и притуплённых перьев. Гр. Толстой очень хорошо понимает, что возврата к состоянию Лукашек и Илюшек для нас, людей цивилизованных, нет. Оттого-то он и гонит Оленина из казачьей станицы, и не дает душевного покоя Нехлюдову, и, без сомнения, благополучно женит Константина Левина на Кити Щербацкой. Понимает гр. Толстой и нежелательность возврата к Лукашкам, даже если бы возврат этот был возможен. Но из этого не следует, чтоб было полезно и справедливо начинать Лукашек и Илюшек тою цивилизацией, которою начинены яснолобые либералы, ибо света не только что в окошке, его довольно много разлито во вселенной. Знает же гр. Толстой, что из ребенка непременно выйдет взрослый человек, но из этого не следует, чтоб ребенок должен был обратиться именно в таких взрослых людей, как, например, г. Марков или г. Цветков. Лукашка и Илюшка составляют для гр. Толстого идеал не в смысле предела, его же не преидеши, не в смысле высокой степени развития, а в смысле высокого *типа* развития, не имевшего до сих пор возможности подняться на высшую ступень. Цель воспитания, говорит гр. Толстой, должна состоять не в развитии, а в гармонии развития. Это справедливо не только относительно воспитания. В обществе и литературе то и дело раздаются требования развития, например, нашей азиатской тор-

говли, или железной промышленности, или сельского хозяйства в России; в любой педагогической книжке слово «развитие» повторяется чуть не чаще, чем буква «ъ»; один очень тупой актер доказывал как-то при мне, что актрисы — женщины неразвитые; я очень хорошо помню, как в шестидесятых годах меня развивали и как я сам развивал других — тогда это было в большой моде; Писарев доказывал, что Шекспир неразвит, потому что верит в привидения, и что Щедрин неразвит, потому что не занимается популяризацией естественных наук, и проч., и проч., и проч. Во всех этих случаях говорится о развитии как о чем-то вполне ясном и себе довлеющем. Между тем трудно найти понятие менее определенное и самостоятельное. Я вполне согласен с г. Полетикой и другими заводчиками, что железная промышленность наша должна развиваться, я согласен и с гр. Орловым-Давыдовым, что наше сельское хозяйство подлежит развитию⁴⁶. Но наше согласие немедленно прекращается, как только я узнаю *тип* развития, предлагаемый этими учеными людьми. Я говорю: пусть лучше наша железная промышленность, наше сельское хозяйство остаются до поры до времени на низкой степени развития, чем им развиваться дальше, сильнее, но по английскому типу. Если бы я, профан, публиковал свои собственные идеалы развития сельского хозяйства и железной промышленности, то гг. Полетика и Орлов-Давыдов в свою очередь объявили бы, что *такого* развития они не хотят. Точно так же когда говорят: этот человек неразвит или малоразвит, надо ему помочь развиваться, то фраза эта получает определенное содержание только по объяснении предлагаемого типа развития. Конечно, выражение гр. Толстого «гармоническое развитие» тоже требует пояснения. Но он его и дает. Относительно Лукашек и Илюшек он с особенною силою и очень часто упирает на то, что эти люди «сами удовлетворяют своим человеческим потребностям». Из совокупности его воззрений следует заключить, что в этом-то и состоит идеал, находящийся сзади нас. Дайте этому типу подняться на высшую ступень, но не подменяйте его иным типом развития на том только основании, что этот иной тип развит высоко. Так рассуждает гр. Толстой, и я думаю, что воззрения его оправдываются и наукою, и справедливостью. Гармоническим развитием наука — и физическая, и нравственная, может назвать только полное, разностороннее

и равномерное развитие всех сил и способностей. Если же я не сам удовлетворяю своим потребностям, как Лукашка и Илюшка удовлетворяют своим, а пользуюсь чужими услугами, то, значит, некоторые мои силы остаются без работы и гармония моей жизни нарушена, я — человек исковерканный, хотя бы некоторые другие мои силы получили колоссальное развитие. Поэтому гр. Толстой совершенно прав, утверждая, что идеал наш — позади нас. Пусть трудно осуществить его в настоящем и будущем, потому что работа жизни становится все многосложнее и, следовательно, все труднее сохранить или восстановить гармонию сил. Но идеал все-таки поставлен, возможно приближение к нему, которое и есть истинный путь прогресса. У нас, напротив, прогрессом называется вся совокупность отклонений от этого пути.

Итак, гр. Толстой завидует чистоте совести и гармоническому развитию Лукашек и Илюшек. Но он не может завидовать скудости их понятий, многим печальным сторонам их образа жизни, их грубости. Напротив, он желал бы от души поднять их на высшую ступень развития. В силу совершающейся в его душе драмы он должен считать это даже своей обязанностью. Но может ли он, могут ли цивилизованные люди вообще это сделать? и если могут, то как следует приняться за дело? Гр. Толстой, очевидно, мучительно, болезненно занят этим вопросом. Есть что-то лихорадочное в его приемах — он то дает одно решение, то берет его назад, то опять к нему возвращается, то боится вмешательства цивилизованных людей, то призывает его, то удаляется в будуары Карениных и Курагиных и старается отыскать в этом мире хоть что-нибудь «гармоническое», то топчет этот мир. Эта лихорадка умственной работы тем поразительнее, что совершается под покровом наружного спокойствия, которое принято называть объективизмом. Лихорадка эта вполне понятна. Ведь все мы люди изломанные, искалеченные, все мы — либо жалкие и наивные эгоисты, воображающие, что наши радости и горести суть радости и горести целого народа, даже всего человечества, либо, как гр. Толстой, чувствуем себя виноватыми и мучимся завистью к чему-то такому, что нам решительно недоступно, что для нас даже и не вполне, не в своем эмпирическом, наличном виде желательно. Против нас стоит мир грубости и невежества, в котором, однако, есть задатки такой красо-

ты, такой правды, такого добра, которые при благоприятных условиях должны затмить нас совсем, да и теперь уже отчасти затмевают. И в этот-то мир, для его-то блага мы должны что-то большое и важное внести, мы-то, виноватые и искалеченные! Должны, потому что нам говорит это совесть, но можем ли? Не напортим ли мы только? Не лучше ли предоставить дело на волю божию, как говорили в старину в судебных решениях?

Тут вытягивается шуйца гр. Толстого. Критика наша достаточно говорила о неприязненном отношении гр. Толстого к историческим лицам, пытающимся действовать на свой страх, по своему крайнему разумению — неприязненном отношении, доходящем до ненависти и презрения, и о его пристрастии к людям смиренным и недеятельным, сознающим себя слабыми орудиями целесообразного хода истории. Мне было очень смешно читать «Критический фельетон» в № 5 «Дела», где автор с комической серьезностью уверяет, что он впервые разоблачает с этой стороны «Войну и мир»⁴⁷. Я не вижу никакой надобности повторять то, что было говорено так много раз в разных журналах и газетах. Я прибавлю только то, чего наша критика не договорила. Если бы мне пришлось трактовать о философской подкладке «Войны и мира», я бы опровергал ее не от своего имени, а от имени гр. Толстого, заимствуя возражения отчасти из его педагогических статей, а отчасти из «Войны и мира» же. Я бы не стал, например, разбирать, насколько основательно приписывать какой-нибудь разумной, целесообразной силе такую нелепую и недостойную комедию, как кровавое движение народов сначала с запада на восток, а потом с востока на запад. Допустим, что все доводы гр. Толстого в пользу разумности и целесообразности всех подробностей этого измолотившего сотни тысяч человеческих жизней движения — вполне резонны. Но ведь это движение туда и обратно заняло в истории всего несколько лет. Движение европейской цивилизации совершается уже много веков, а гр. Толстой, как мы видели в прошлый раз, превосходно доказал, что это движение нецелесообразно и неразумно, что с ним следует бороться. Если бы каким-нибудь непонятным чудом *один* кровавый эпизод этого многовекового движения и оказался вдруг разумным и целесообразным, то перед таким явлением следует только вложить палец удивления в рот изумления. Стараться же его постигнуть было бы совсем на-

прасным трудом. Не стал бы я тоже обсуждать уверения гр. Толстого, что Наполеон, Александр, Кутузов были те именно люди, какие только и могли быть выставлены историческими условиями. Я бы просто вспомнил кое-что из того, что гр. Толстой говорил г. Маркову в статье «Прогресс и определение образования». Например: «очень, может быть, забавно рассуждать вкривь и вкось о тех исторических условиях, которые заставили Руссо выразиться именно в той форме, в какой он выразился». Или: «историческое воззрение может породить много занимательных разговоров, когда делать нечего, и объяснить то, что всем известно», и т. п. Такая очная ставка гр. Толстого с гр. Толстым же была бы в том отношении полезна, что навела бы на необходимость объяснить эти противоречия. Что умный человек заблуждается, в этом еще нет ничего особенно поразительного: не заблуждаются только не рассуждающие. Но что умный человек так резко противоречит себе, это заслуживает большого внимания, потому, что причины, толкающие его к противоречиям, должны непременно быть очень серьезны и очень поучительны. Как уже сказано, для меня все эти причины сводятся к столкновению потребностей гр. Толстого с его сознанием. Подтвердить, однако, эту мысль анализом «Войны и мира» я не берусь. Это потребовало бы слишком много времени и слишком большого труда. К счастью, у гр. Толстого есть одна небольшая, но высокохудожественная повесть, содержащая в сжатом виде все нужные для меня элементы. К счастью также, наша критика, сколько мне по крайней мере известно, не занималась ею. Значит, я не рискую надоесть читателю. Повесть эта называется «Поликушка», напечатана она в III томе сочинений гр. Толстого.

Дворовый Поликей — человек добрый и вообще недурной, но слабый. В числе его слабостей есть страстишка к воровству, которую он приобрел на конном заводе от конюшего, первого вора по всему околотку. Любит он тоже выпить. Последний его подвиг состоял в том, что он в барской конторе украл дрянные стенные часы. Барыня, женщина нервная, чувствительная и бестолковая, «стала его урезонивать, говорила, говорила, причитала, причитала, и о боге, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене, и о детях, и довела его до слез. Барыня сказала:

— Я тебя прощаю, только обещай ты мне никогда вперед этого не делать.

— Век не буду! Провалиться мне, разорвись моя утроба!— говорил Поликей и трогательно плакал. Поликей пришел домой и дома, как теленок, ревел целый день и на печи лежал. С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем».

Однако репутация вора ему много вредила, и, когда пришло время рекрутского набора, на него все указывали. Надо было сдавать троих. Относительно двоих из них не было никаких колебаний ни у барыни, ни у мира. Третьим староста предлагал барыне или Поликее, или из семьи Дутлова, старого и не бедного мужика, у которого было два сына и племянник. Староста желал выгородить Дутловых и сдать Поликушку. Барыня жалела и Дутловых, но горой стояла за Поликее. «Одно только скажу тебе,— говорила она,— что Поликее я ни за что не отдам. Когда после этого дела с часами он сам признался мне и плакал и клялся, что он исправится, я долго говорила с ним и видела, что он тронут и искренно раскаивается. («Ну, понесла!» — подумал староста.) С тех пор вот семь месяцев, а он ни разу пьян не был и вел себя прекрасно. Мне его жена говорила, что он другой человек стал. И как же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда он исправился? Да и разве это не бесчеловечно отдать человека, у которого пять человек детей и он один? Нет, ты мне лучше не говори про это, Егор». Порешили на Дутловых, и жребий выпал племяннику. Между тем еще во время разговора со старостой у бестолковой барыни блеснула блажная мысль послать Поликее в город получить порядочные деньги, «три полтысячи рублей» (на ассигнации), как потом с гордостью говорил Поликушка. Она не думала, разумеется, что рискует, искушая человека; она была вполне уверена, что деньги будут привезены сполна, ибо знание человеческого сердца подсказало ей, что ее красноречие окончательно обратило вора и пьяницу на путь истины. Она, кажется, в своем приказании только и руководствуется, что желанием обнаружить свою силу и проницательность. Сцены тревоги семьи Поликее, когда его позвали к барыне (как думали в первую минуту, для сообщения вести о рекрутчине), и сборов Поликее в дорогу я передавать не стану, как потому, что они мне здесь не нужны, так и потому, что их пришлось бы выписывать целиком, чтобы оценить их

мастерство и правдивость. В особенности поразительна жена Поликеев, в которой сначала нет, кажется, ничего, кроме отчаяния, а потом, когда Поликей принес известие об удивительном приказании барыни, радость и гордость борются с тревожным опасением, что Поликей не выдержит искуса. Нам нужно отметить только одну подробность: шапка у Поликеев оказалась столь безобразно рваная, что надо было ее чинить; жена заговала внутрь выбившиеся из-под покрышки хлопки и зашила кое-как дыру. Поликей, наконец, едет, гордый, счастливый и с твердым решением исполнить поручение свято. И действительно, он благополучно миновал все кабаки и полпивные, получил деньги и поехал домой, приятно мечтая о благодарности и уважении, которые его там ждут. Конверт с деньгами он для верности положил в шапку и, пока не заснул в тележке, неоднократно ощупывал конверт и засовывал его глубже в шапку. Одно из этих движений погубило его. «Плис на шапке был гнилой,— поясняет рассказчик,— и именно потому, что накануне Акулина старательно зашила его в прорванном месте, он разлезался с другого конца, и именно то движение, которым Поликей, сняв шапку, думал в темноте засовать глубже под хлопки письмо с деньгами, это самое движение распорол шапку и высунуло конверт одним углом из-под плису». Словом, Поликей вернулся без денег и повесился. Жена его мыла ребят в ту минуту, когда узнала об этом. Она бросилась к повесившемуся, и в это время один из ребят захлебнулся и умер. Этого уже не могла вытерпеть многострадальная женщина и сошла с ума, причем барыня еще раз блистательно обнаружила свою чувствительность и бестолковость. Я рассказываю, так сказать, бегом, и несчастья семьи Поликушки, сбитые в кучу, могут показаться несколько аляповатыми. Но кто читал или прочтет «Поликушку» в подлиннике, тот этого не скажет. Дело этим не кончается. Старик Дутлов, сдав в городе своего племянника, на обратном пути нашел потерянный Поликеем конверт с деньгами, представил его чувствительной и бестолковой барыне и получил от нее все «три полтысячи» в подарок. «Пускай возьмет все,— нетерпеливо говорила барыня горничной.— Что ты меня не понимаешь? Эти деньги несчастные, никогда не говори мне про них. Пускай возьмет себе этот мужик, что нашел. Иди, ну иди же!» Часть этих денег счастливый Дутлов (тоже мастерская фигура: прижи-

мистый старик, смесь хитрости с искренностью, простоты с торжественностью, типичный великорусский мужик) употребил на наем охотника за своего племянника. Вот как, значит, иногда неожиданно разыгрываются житейские драмы. Цивилизованный человек, чувствительная и бестолковая барыня, самоуверенно решила, что имеет достаточно и ума, и власти, и житейского опыта для того, чтобы облагодетельствовать и даже окружить некоторым почетом семью Поликушки. Вмешательство ее определило также идти в рекруты Дутлову. Но комбинация разных мелких обстоятельств, вроде починенной шапки и нахождения денег именно Дутловым, комбинация, не лишенная, вероятно, некоторой разумности и целесообразности, перевернула все вверх дном. То именно, что гордый, но слабый разум как чувствительной барыни, так и Поликея и жены его, старался направить к счастью Поликушки, обрушилось страшною тяжестью на всю его семью и раздавило ее. А Дутлову, напротив, выпал самый счастливый билет лотереи.

Если смотреть на «Поликушку» как на анекдот, то есть как на рассказ об единичном, необыкновенном, исключительном, не подлежащем какому-нибудь обобщению случае, то можно, конечно, только сказать: да, очень странное стечение обстоятельств. Но широкий, преимущественно склонный к обобщениям ум гр. Толстого не годится для анекдотов: он их никогда не писал и, я думаю, не будет писать. Совсем у него иначе голова устроена. И в «Поликушке» следует видеть отражение некоторых душевных общих понятий автора. С точки зрения господствующих о гр. Толстом мнений дело объясняется очень просто: недоверие к человеческому разуму, неспособному понять цели провидения, гордо помышляющему о своих собственных целях и терпящему в конце концов полное поражение. Это — так. Я знаю, что гр. Толстой имеет такие воззрения, я знаю, что в этом направлении он может унизиться (в философском отношении) даже до такой фразы: «не случайно, а целесообразно окружила природа земледельца земледельческими условиями, а горожанина — городскими» (т. IV, 21). Но я не могу только отметить поразительное явление и затем пройти мимо. Я с величайшим недоумением останавливаюсь перед ним и спрашиваю себя: как мог сказать такую плоскость такой человек, как гр. Толстой, который так отчетливо, так

глубоко понимает неразумность и нецелесообразность исторического хода событий и так страстно и настойчиво борется с ним, ища при этом опоры в своем разуме и ставя перед собой свои особенные цели? Мне кажется, что я нашел ответ, который и предлагаю читателю. Скажу, однако, что если бы гипотеза, построенная мною для объяснения литературной деятельности гр. Толстого, оказалась даже несостоятельной, но если мне удастся сообщить при этом читателю хоть часть того интереса, который возбуждает во мне этот писатель, так я и тем буду доволен. Потому что он глубоко поучителен даже в своих многочисленных противоречиях. Мне кажется, что корень несчастий, обрушившихся на семью Поликея, заключается для гр. Толстого в чувствительной и бестолковой барыне, в цивилизованном человеке, слабом и исковерканном, но самоуверенно вмешивающемся в жизнь народа. Наблюдение, чисто теоретические соображения и чувство совести и ответственности привели его к другому заключению: цивилизованный человек обязан действовать, и действовать в известном направлении. Из этого последнего заключения проистекает вся десница гр. Толстого, смелость его мысли, благородство стремлений, энергия деятельности. Но эта нитка ежеминутно грозит оборваться на соображениях о негодности цивилизованного человека: вот и самого гр. Толстого все тянет к миру дамских будуаров. Мысль трусит, стремления замирают, энергия слабеет, и вся надежда возлагается на какое-то туманное целесообразное начало, которое без нас и наперекор нам устроит все по-своему. В этот же психический момент совершаются и другие явления. О пристрастии гр. Толстого к семейному началу наша критика тоже говорила так много, что мне нужно только договорить не договоренное ею. Доводы гр. Толстого в пользу преобладающего, всепоглощающего значения семейного начала, доходящие до апофеоза «сильной и плодovитой самки» Наташи Безуховой⁴⁸ (в «Войне и мире» есть прямо логические доводы, кроме логики образов), очень удобно опровергаются, как и некоторые его философско-исторические взгляды, его же собственными соображениями. Я, впрочем, не стану этим заниматься и обращу внимание читателя на следующее любопытное обстоятельство. Замечательно, что, вводя читателей в мир крестьянский, народный, гр. Толстой не предается преувеличенной идеализации семейного начала и даже

совсем этой стороны жизни не касается. Этим умолчанием, если его поставить рядом с гимнами «сильной и плодovитой самке» в цивилизованном быту (и чем выше общественный слой, тем сильнее автор поет этот гимн), гр. Толстой как будто говорит: обитателям салонов и будуаров надо бросить мысль о какой бы то ни было политической и общественной деятельности, она им не по плечу; если есть у них семья, так это — лучшее, что у них есть; вне этой сферы они могут только вредить; народ — другое дело. Кроме того, пропаганда всепоглощающего семейного начала в цивилизованном быту представляет гр. Толстому некоторую точку опоры, некоторое оправдание его экскурсиям в мир салонов и будуаров. Нужно же найти что-нибудь хорошее там, куда его помимо его воли так тянет его шуйца; нужно же противопоставить что-нибудь этим Курагиным и Облонским, Карениным и Вронским. Но где лежит центр тяжести их жизни? Что их больше всего занимает? Разрушение семейного начала. Значит, и противопоставить им можно только семейное начало.

Повторяю, все это гипотеза. Но без нее гр. Толстой для меня — неразрешимая загадка. И если читатель ее примет, то поймет, конечно, что в вопросе о народном образовании, который состоит, собственно, в том, как и что мы, цивилизованные люди, должны и можем передать народу, что в этом вопросе гр. Толстой не мог обойтись без противоречий.

IV

Терпимость резко отличает гр. Толстого от других наших педагогов. Он не делает себе из того или другого способа обучения грамоте любимого конька и не ездит на нем с тем комическим видом Георгия Победоносца, образцом которого мы любовались в статье «Семьи и школы», составленной «по Миропольскому». Гр. Толстой полагает, что все существующие способы обучения грамоте имеют свои достоинства и свои недостатки, что все они могут и должны применяться, смотря по обстоятельствам, то есть смотря по особенностям учеников и учителей. Если гр. Толстой и смеется иногда над тем или другим способом, то только потому, что ему, этому способу, придется кем-либо из педагогов значение всевластного кумира. Тут гр. Толстой сходится, можно

сказать, со всеми педагогами — теоретиками и практиками, от Ушинского до какого-нибудь дьячка с «азами», но также и расходится со всеми ими в том смысле, что не творит себе кумира. Терпимость эта не идет, однако, далее обучения грамоте. За этой первой ступенью образования начинается уже полный разлад между гр. Толстым и другими педагогами. Разлад этот находится в ближайшей связи с другой чертой, еще резче выделяющей гр. Толстого из среды наших педагогов.

Г-н Евтушевский принимал в прошлом году деятельное участие в устройстве семейных или домашних, не помню названия, школ, предназначенных для детей известного класса общества — среднего или выше среднего достатка. Вопрос об этих школах разрабатывался, помнится, и в «Семье и школе». С год тому назад барон Корф публиковал в газетах об устроенной им где-то в Швейцарии школе, опять-таки, конечно, для людей среднего и выше среднего достатка. Ввиду детей этого класса пропагандируются и фребелевские сады⁴⁹. Вообще, если вы проследите теоретическую и практическую деятельность наших известнейших педагогов, то есть посмотрите, где и кому они дают уроки, для кого пишут статьи и книги, об чем беседуют в педагогическом обществе, то увидите, что они много, очень много работают для «общества». Гр. Толстой, напротив, как общественный деятель, то есть поскольку его деятельность подлежит нашему суждению, очень мало интересуется образованием и воспитанием высших классов общества. Если ему случалось писать, например, об университетском образовании или о значении классического образования (которое он, мимоходом сказать, решительно отрицает), то только к слову, для разъяснения некоторых теоретических вопросов, поставленных им ради удобнейшего разрешения коренного для него вопроса — вопроса об образовании народном. Этим сопоставлением я отнюдь не думаю бросить какую-нибудь тень на педагогов: наши дети не менее детей народа нуждаются в образовании. Я только констатирую факт. Факт этот чреват чрезвычайно важными последствиями. Педагог, привыкший к атмосфере семейств среднего и выше среднего достатка и казенных или частных учебных заведений, обеспеченных казенным содержанием или крупной платой учеников, естественно приходит к мысли об образовании идеальном. Как ни неудовлетворительны в разных отношениях

наличные учебные заведения и семейная обстановка достаточных людей, но тут имеются большие, часто громадные материальные средства; поэтому педагогу может, хотя слабо, мерцать приятная мысль дать своим ученикам такое образование, которое он считает наилучшим, наиболее соответствующим, как у нас выражаются, «последнему слову науки». Это совершенно в порядке вещей. Но совершенно в порядке вещей и диаметрально противоположный взгляд гр. Толстого. По отношению к народному образованию он считает просто бессмысленным вопрос: как дать наилучшее образование? Чтобы видеть, что это вопрос действительно бессмысленный, надо взять какой-нибудь резкий пример наилучшего образования. Я, например, полагаю, что наилучшая программа образования дана Контовой классификацией наук⁵⁰, и, если бы у меня имелись материальные средства и другие благоприятные условия, я обучал бы своих детей сперва математике (в известной последовательности ее подразделений), потом астрономии, затем физике, химии, биологии и, наконец, наукам общественным. Больше или меньше приближение к этой программе возможно для людей по средствам, это — «наилучшее образование» (то есть одно из наилучших, потому что другие могут выставить другие программы), но как его дашь народу?

Конечно, если бы вопрос стоял так просто и резко, так ребром, то не могло бы быть никаких пререканий между гр. Толстым и педагогами. Было бы ясно, что они толкуют о совершенно разных вещах. Но дело выходит гораздо сложнее. Педагоги вносят в народное образование привычки мысли, выработанные в совсем иной сфере, но с первого же шага наталкиваются на практическую необходимость сбавить кое-что с требований «последнего слова науки». С другой стороны, и гр. Толстой имеет, как и всякий человек, свои идеалы «наилучшего образования» и не может не желать поднятия уровня требований народа и условий его жизни до этих идеалов. Разница до сих пор выходит, значит, все-таки как будто только количественная. Но она получает характер очень ясного качественного различия, как только вы взгляните в отношения обеих спорящих сторон к народу и к идеалам наилучшего образования. Педагоги вполне уверены в безусловных достоинствах своих идеалов и вместе с тем смотрят на народ как на грубую, глупую и невежественную толпу. Применяясь к этой

грубости, глупости и невежеству, они делают известные урезки в своих идеалах и, например, вместо ряда наук в известной последовательности предлагают народу какую-то педагогическую крошку, составленную из бессвязных обрывков разнообразнейших знаний, или низводят наглядное обучение, представляющееся им последним словом науки, до уровня вопросов о полете лошади и количестве ног у ученика. Выходит, и волки сыты, и овцы целы: и идеалы наилучшего образования сохранены, и сделано снисхождение к глупости мужика. Гр. Толстой находится в ином положении. Не идеализируя мужика, не отрицая ни его грубости, ни его невежества, он видит в нем задатки громадной духовной силы, которой нужно только дать толчок. К идеалам же наилучшего образования, как и вообще к идеалам «общества» цивилизованных людей, он относится, напротив, крайне скептически. На основании изложенных мною воззрений гр. Толстого можно было бы уже а priori * сказать, что он должен отрицательно относиться к деятельности наших педагогов: это ведь только частный случай столкновения «общества» с народом. И надо правду сказать, что трудно было бы найти область мысли и деятельности, по отношению к которой скептицизм гр. Толстого был бы законнее. Благодаря стечению благоприятных для господ педагогов обстоятельств они пользовались до сих пор каким-то странным *succès de silence* **. Родители и разные казенные и общественные учреждения раскупали их книжки в громадном для России количестве экземпляров; земства различных губерний вызывали их для устройства учительских съездов и чтения лекций; многие из них стяжали себе титул «нашего известного педагога» и проч. Мне известны, правда, случаи разочарования земства в выписанном им из Петербурга патентованном педагоге, а также случаи разочарования родителей в периодических и непериодических педагогических изданиях. Но все подобные недовольства и разочарования как-то мало всплывали наружу, отчасти, может быть, по свойственной русскому человеку привычке к долготерпению и молчанию, отчасти из боязни осрамиться сомнением в ореоле научности и степенности, втихомолку, но прочно окружившем головы «наших извест-

* Заранее (*лат.*) — *Ред*

** Тихим успехом (*фр.*) — *Ред*

ных педагогов». Бывает это, что в обществе появляется человек с репутацией скромности, приличия, степенности, и все привыкают его видеть, и никто не решается заговорить об его нескромностях и неприличиях, и все, бог знает почему, точно условились, смотрят сквозь пальцы на его поведение. Так было и с педагогами, пока гр. Толстой не вторгся с своей критикой. Благодаря его инициативе профаны — кто старательнее и смелее, а кто (как я, грешный) и впервые — заглянули в творения наших известных педагогов, прислушались к их изустным прениям и увидели, что за внешним обликом учености, за терминологиями, классификациями и перечислениями Шольцев и Шмальцев скрывается нечто микроскопически малое.

Но обратимся к гр. Толстому. В народе лежат зачатки громадной духовной силы, которые нуждаются только в толчке. Толчок этот может быть дан только нами, представителями «общества», больше ему неоткуда взяться, а мы даже обязаны его дать. Но он должен быть дан с крайнею осторожностью, чтобы как-нибудь не затоптать или не испортить лежащих в народе зачатков сил, а это тем возможнее, что сами мы — люди помятые, более или менее искалеченные, дорожащие разным вздором. Как же быть? Никогда уму человеческому не представлялся вопрос более важный и тревожный. Он находится в ближайшей связи с вопросами, волнующими мыслящих людей и рабочие массы в Европе. Гр. Толстой, как мы видели, полагает, что, если русский мужик будет прогрессом промышленности и сельского хозяйства согнан с земли, взамен которой ему будет предложена заработная плата, как фабричному или сельскому рабочему, то, как бы ни была высока эта плата, мужик будет обобран; обобрано будет его будущее, он будет лишен экономической самостоятельности. С точки зрения гр. Толстого, вполне разделяемой и мною, такие же опасности для народа предстоят и на пути прогресса образования. Опасности здесь даже больше, потому что не так бросаются в глаза. Тернистый путь промышленного прогресса, его обоюдоострый характер изучен, можно сказать, вполне, и только тупоумие, рутинизм и своекорыстие отворачиваются на этом пункте от горьких истин. Не то с прогрессом образования. Всякий способен понять, что заработная плата, как бы она ни была высока, есть часть дохода, даваемого тем или другим производством, а доход

с крестьянского земельного надела, как бы он ни был мал и обременен платежами, есть целый доход. Но обыкновенно говорят, что лучше большая часть, чем малое целое, а потому, дескать, показателем роста народного богатства должна быть признана высота заработной платы, а не количество земельных собственников. Это не то что неверное решение вопроса, а неправильная его постановка. Порядок, при котором большинство населения живет заработного платою, и порядок, при котором это большинство состоит из самостоятельных хозяев, принадлежит не к различным *ступеням*, а к различным *типам* развития. Поэтому здесь и сравнивать надо типы развития. Известный тип развития может быть выше другого и все-таки стоять на низшей ступени. Например, имея в виду *степени экономического развития* Англии и России, всякий должен будет отдать преимущество первой. Но это не помешает мне признать Англию низшим (в экономическом отношении) *типом* развития. Это различие типов и ступеней развития весьма важно и могло бы, если бы постоянно имелось в виду, избавить нас от множества недоразумений и бесплодных пререканий. Я прошу читателя приложить его к приведенному уже мною в прошлый раз утверждению гр. Толстого, что песня «О Ваньке-ключничке» и напев «Вниз по матушке по Волге» выше любого стихотворения Пушкина и симфонии Бетховена. Без сомнения, в «Ваньке-ключничке» и «Вниз по матушке по Волге» нет той тонкости и разнообразия отделки, нет даже той *односторонней* глубины мысли и чувства, какими блещут Пушкин и Бетховен, они ниже последних в смысле ступеней развития, но они принадлежат к высшему *типу* развития, находящемуся пока на низкой ступени, но могущему иметь *свой* прогресс. Эту *возможность* развития, более широкого и глубокого, чем каким вы обладаете сами, вы отнимете, если вам удастся подсунуть народу Пушкина вместо «Ваньки-ключничка» и Бетховена вместо «Вниз по матушке по Волге», вы оберете мужика в духовном отношении, прямо сказать ограбите его. Ограбите даже в том случае, если вам удастся всучить мужику именно такие свои перлы и алмазны, как Пушкин и Бетховен. Но вернее предположить, что народ получит не их, а что-нибудь вроде «последнего слова куплетистики», как рекламировался недавно в газетах какой-то сборник французско-нижегородских каскадных шансонеток.

Я не знаю, хорошо ли я излагаю мысли гр. Толстого, и не без гордости прибавляю мои, уже не первый год мною развиваемые. Но я рассчитываю на читателя, на его искреннее и серьезное отношение к делу, которое исправит недостатки моего изложения. Я, впрочем, стараюсь быть как можно понятнее, точнее и хватаюсь с этой целью за всевозможные средства. С тою же целью я сделаю теперь небольшое отступление к вышедшему в прошлом году замечательному труду г. Владимирского-Буданова «Государство и народное образование в России XVIII века»⁵¹. Я не могу согласиться со многими воззрениями почтенного автора, например с его пристрастно-враждебным отношением к Петру I, об чем, впрочем, говорить не буду, так как это завлекло бы меня слишком далеко. Я не могу, к сожалению, исчерпать даже все те стороны исследования г. Владимирского-Буданова, которые находятся в ближайшей связи с вопросами, поднятыми в обществе статьей гр. Толстого. Главное достоинство труда г. Владимирского-Буданова состоит в том, что он не изолирует вопроса о народном образовании, не отрывает его от сопредельных с ним общественных вопросов. Мы к этому совсем не приучены. У нас рассуждают о звуковом методе, о фребелевских садах, о классическом и реальном образовании и проч. почти исключительно отвлеченно, без отношения к той среде, в которой должны будут действовать звуковой или иной метод обучения грамоте, фребелевские сады и классическое и реальное образование. Такие рассуждения, без сомнения, могут иметь свою цену, но, слыша их, я всегда припоминаю один любопытный исторический пример: одни и те же общие теоретические начала отразились во Франции — первой революцией, а в Германии — прусско-государственной философией Гегеля. Это от того зависело, что эти общие теоретические начала встретили в Германии одну комбинацию общественных сил, а во Франции — совершенно другую, а потому и преломились там и тут в диаметрально противоположном виде. Из этого не следует, разумеется, что отвлеченные рассуждения о том или другом факторе общественной и государственной жизни должны быть совсем исключены из нашего умственного обихода. Напротив, они вполне уместны, пока мы не выходим из области теории; временное выделение одного какого-нибудь фактора из всей совокупности жизненных явлений может в этом

случае составить даже превосходный научный прием. Но в вопросах практических необходимо должны быть приняты во внимание те силы и те сочетания сил, с которыми исследуемый фактор столкнется в действительности. В этом именно отношении ценно произведение г. Владимирского-Буданова, которое я беру на себя смелость рекомендовать особенному вниманию наших педагогов и из которого они извлекут несравненно больше пользы себе и обществу, чем из всех Шольцев и Шмальцев вместе. Разве не поучителен в самом деле для наших гордых педагогов хоть такой пример? Известный Янкович де Мириево⁵² представил Екатерине проект народного образования, заслуживший одобрение. До тех пор народное образование было в руках дьячков и велось крайне плохо. С принятием проекта Янковича де Мириево частным лицам воспрещено было производить обучение, если они наперед не изучали нового метода в главном народном училище и не получили установленного свидетельства о дозволении открыть школу из приказа общественного призрения, которому были подчинены все народные школы губернии. Метод и объем обучения, рекомендованные Янковичем де Мириево, а равно и соответственные книги, изданные для народных училищ, представляли тоже «последнее слово науки» того времени и были, относительно говоря, ничем не хуже приемов современной педагогики. Но мужик был уже и тогда груб и невежествен. Он до такой степени упорно отдавал своих детей по-старому дьячкам, что правительство, несмотря на все свое могущество, должно было пойти на сделки. Через несколько лет по открытии нежинского училища смотритель его и городничий получили ордер, начинавшийся так: «Высочайшая воля есть, чтобы юношество обучаемо было по вновь изданным книгам, и на тот конец заведены народные училища с немалым от казны содержанием. Хотя взяты были дети от дьячков и приведены в училище, но пробыли там один день, а потом более месяца никто не являлся. Причиною тому дьячки, кои обучают по старому методу; родители же почитают в том только науку, что дети их в церквах читать могут псалтирь». Затем, рядом с некоторыми репрессивными мерами, ордер предписывал понедельник, вторник и среду до обеда посвящать учению в училище по новым методам, а среду после обеда, четверг, пятницу и субботу отдать на съедение дьячкам! О сильном противодействии при-

ходских школ новым свидетельствует и другой документ, относящийся к новгород-северской школе: «Нельзя оставить без примечания, что и сие полезнейшее заведение (народное училище), как и всякое другое, имеет упрямого себе соперника — закоренелый обычай: многим и теперь кажется еще, что прежнее трудное и для нежных нервов тягостное букв название удобнее теперешнего и что с старого букваря и часовника обучать детей легче, нежели из книг, изданных для народных училищ». Вот, господа педагоги! Сто лет тому назад ваши предшественники отскакивали с своим последним словом науки от народа, как от стены горох. Прошло сто лет, а вы все еще имеете право жаловаться, что «многим кажется еще (!), что прежнее трудное и для нежных нервов тягостное букв название удобнее теперешнего и что с старого букваря и часовника обучать детей легче, нежели из книг, изданных для народных училищ». Положим, народ груб, глуп и невежествен, но возьмите же хоть часть вины на себя. Прислушайтесь хоть к голосу историка народного образования в России XVIII века, которого изучение предмета привело к такому заключению: «Каково бы ни было достоинство (этого) образования, все же остается верным, что степень сочувствия масс к известным явлениям социального характера должна быть необходимо принимаема меркою для оценки пригодности административных мер».

Для ближайшей цели этой главы моих записок важнее, однако, другая сторона исследования г. Владимирского-Буданова, именно: его взгляды на отношение различных форм народного образования к сословным делениям общества. «Несомненно,— говорит автор,— что роскошный цвет образования классических народов есть результат социального строя их, основанного на рабском труде, что блестящие, хотя и бесплодные лепестки средневекового образования, при крайнем невежестве масс запада Европы, есть один из результатов феодальной власти владельцев над сельским населением и промышленной торговой монополии городских общин; чем выше неравенство экономических условий, тем выше неравенство образования на обоих крайних пределах общества, то есть тем оно более блестяще вверху, тем оно ничтожнее внизу. Мало-помалу этот печальный факт стремится перейти в юридическую норму: владеющие классы стремятся утвердить мысль, что

низшие слои населения *не должны* приобретать образование, что оно в руках неимущего есть огонь в руках дитяти». Таково влияние резко сословного строя общества на судьбы народного образования. Но и формы образования в свою очередь влияют на сословный строй общества. Сюда-то и относятся любопытнейшие страницы исследования г. Владимирского-Буданова. Он полагает, что в допетровском обществе влияние сословного строя на распределение степеней образования было весьма ничтожно. Образование, на всех своих ступенях, было в те времена свободное и сословное и, что особенно важно, не профессиональное, а общее. Принципом образования была «людовечность» (Humanität), а не потребности той или другой сословно-профессиональной группы. Это относится не только к элементарному образованию, которое по самой сущности своей не может быть профессиональным (и потому при господстве профессиональной системы просто не имеет места). Правительство и из высшего образования не делало орудия сословий. «Образование, как цель правительственных забот, есть «мудрость», то есть *высшее общее образование*, которое по схеме Крыжанича⁵³ и привилегии московской академии состоит в полном развитии человеческих сил и способностей, в том, что составляет «едино на потребу», к которому все приложится. Зная, что источник благосостояния церковного и государственного есть мудрость, «ни о чем же, говорит правительство, тако тщание сотворяем, якоже о изобретении премудрости, с нею же вся благая от бога людем дарствуются». Ни к какой другой сторонней цели государство не направляет этой мудрости; она сама себе составляет цель и высочайшую, чистейшую задачу государства. Средствами для достижения этой мудрости правительство признает следующую систему наук: «благоволим храмы чином академии устроить и во оных хошем семена мудрости, то есть науки гражданские и духовные, наченше от грамматики, пиитики, риторики, диалектики и философии разумительной, естественной и нравной, даже до богословии, учащей вещей божественных и совести очищения постановити». Крыжанич уясняет эту систему; по его схеме знание (scientia) разделяется на духовное и мирское; первое есть богословие; второе состоит из трех составных частей: наук прикладных («механики»), математики и философии. Последняя (согласно с привилегией московской акаде-

мии) определяется как логика, физика и этика. Первая включает в себе всю филологическую часть человеческого ведения (грамматику, риторику с пиитикой и диалектику). Вторая («философия естественная») включает все науки естественные. Третья («философия нравная») включает в себе юридические, экономические и социальные науки, венец которых составляет политика—«царственная мудрость» (IV).

Петру и его преемникам предстояло или идти по тому же пути, только улучшая и расширяя его, то есть снабжая элементарные, приходские школы лучшими учителями, расширяя и уясняя программы среднего и высшего образования и т. д., или, напротив, сойти с этого пути, замкнув образование в известные сословно-профессиональные рамки. Правительство избрало второй выход. Г-н Владимирский-Буданов полагает, что «русские сословия, преимущественно же дворянское и духовное, одолжены своею организацией главным образом узаконениями о профессиональном образовании». Два принципа господствуют в нашем законодательстве XVIII века: 1) всякий должен учиться тому, что составляет профессию его отца, 2) отсюда само собою следует, что никто сторонний не может быть допущен к этой профессии. Наисильнейшее приложение принципы эти получили к профессии духовенства, результатом чего и было образование резко обособленного духовного сословия. Г-н Владимирский-Буданов, естественно, отдает значительную долю своего исследования этому резкому примеру, подтверждающему его воззрения на влияние образования на сословный строй. Однако он с большим тщанием следит и за другими проявлениями того же принципа. Не говоря уже о дворянстве, которому системою профессионального образования была предоставлена высшая военная и гражданская служба, и о сословии «подьячих», читатель найдет в книге много примеров регламентирования законодательством в сословном смысле даже отдельных частных видов военной и гражданской службы. Так, например, велено было «детей, оставшихся после умерших в службе докторов, штаб-лекарей, подлекарей, аптекарей и прочих аптекарских служителей, не определять на службу ни в какие другие команды, но только в ведомство медицинской канцелярии, где отцы их служили». Дети горнослужащих обучались в горных школах; дети военных мастеровых обучались так, чтобы

«потом могли быть добрыми мастерами», дети ладожской команды получали образование в особой, специальной школе, состоявшей при Ладожском канале. Если же дети людей известной профессии оказывались к ней неспособными, то их все-таки стремились удержать как-нибудь вблизи от нее. Например, солдатские дети обучались в гарнизонных школах и предназначались в военную службу. В случае же неспособности, велено их было обучать мастерствам слесарному, кузнечному, столярному, портному «и прочим художествам, какие при армии и полках потребны и по воинскому штату определены». Неспособных детей духовного сословия рекомендовалось обучать иконописному мастерству. Я привожу эти мелкие примеры потому, что в них направление законодательства отразилось яснее, чем в узаконениях, например, о профессиональном образовании дворянства. Таким образом, «людскость», «полное развитие человеческих сил и способностей» перестали существовать как цели образования. Правительство имело в виду исключительно нужды государства, которые приурочило к сословным целям и интересам. Когда вследствие этого профессиональная система получила преобладающее, исключительное значение, образование элементарное оказалось «не в авантаже»: во-первых, уже потому, что оно есть образование общее, а во-вторых, потому, что им должны были пользоваться низшие классы общества, ни к какой специальной государственной службе не приспособленные.

Некоторые достойные внимания поправки к исторической части исследования г. Владимирского-Буданова читатель найдет в рецензии г. Андреевского, напечатанной в I томе «Сборника государственных знаний»⁵⁴. Я совершенно уклоняюсь от беседы об этой стороне воззрений автора и обращаю внимание читателя только на его социологические выводы.

«Человеческая мысль и нравственная деятельность, — говорит автор, — не призваны к исключительному служению государству» (236). И в другом месте: «Профессии, всегда склонные к наследственности, могут не переходить в сословия только при том единственном условии, если выбор их совершается в летах сравнительно зрелых, после предварительного общего образования. Только общее образование может уяснить для человека его специальные способности и определить его свободную волю в ту или другую сторону практической

деятельности. В нем та сила, которая освобождает человека от условий, данных ему извне его происхождением и положением. Поэтому всякому может показаться весьма странным, что тот самый XVIII век, который принес нам образование, был вместе с тем эпохой развития сословий. Секрет разрешается тем, что правительство начала XVIII века не имеет вовсе в виду общего (человеческого, гуманного) образования. Целью его мер по народному образованию было не образование, а государственная служба» (142). При этом следует, однако, заметить, что, по сознанию самого автора, сословия уже существовали в допетровской Руси; не Петр, а XVIII век, так сказать, обострил их. Но, повторяю, конкретные исторические факты, трактуемые г. Владимирским-Будановым, я оставляю совсем в стороне и смотрю только на их общее социологическое значение. Бывают, значит, случаи, когда прогресс образования идет бок о бок с прогрессом общественных неравенств. Очевидно, что явление это возможно и помимо усиленной деятельности законодательства, направленной исключительно в сторону сословно-профессионального образования. Такая деятельность законодательства может усилить и ускорить движение, которое, однако, вполне мыслимо без нее. Сам г. Владимирский-Буданов указывает (141) на организацию у нас городского сословия, «которое несомненно представляет полный образец строгого сословного учреждения, а между тем нимало не подверглось влиянию законов о народном образовании». Он объясняет это тем, что «только так называемые *духовные* (*geistliche*, по немецкой терминологии) профессии удобно переходят в сословия под влиянием законов об изучении и приобретении профессий. Экономические же профессии могут перейти в сословия совершенно независимо от законов об обучении, в силу стремления к корпоративности, присущего самому духу всякой экономической деятельности». К этому следует еще, может быть, прибавить, что резкую границу между «духовными» и «экономическими» профессиями провести очень трудно. Как бы то ни было, посмотрим, что происходит в обществе или государстве, в котором, по каким бы то ни было причинам, господствует сословное начало образования. Мы видим здесь самую яркую картину борьбы за индивидуальность¹. Победа

¹ См.: Сочинения. Т. III. Гл. VI и Т. V.

первоначально должна принадлежать высшей индивидуальности — государству. Оно совершенно подчиняет себе, поглощает отдельные единицы. Оно говорит: мне нужны офицеры, солдаты, плотники, священники, подьячие как простые, несамостоятельные органы моей жизни; с этой целью я обращаю все эти профессии в наследственные, ибо ряд поколений, воспитанных, например, в школе Ладожского канала, будет наилучше исполнять то, что, по моим задачам, должно быть на Ладожском канале исполнено. Но по мере того как этим путем растут и крепнут сословия и сословийца, победа в значительной степени переходит на их сторону. *Они* уже своею борьбою направляют жизнь государства в ту или другую сторону. Государство (так везде было) в известный момент своего развития стремится побороть, поглотить сословия и сословийца разными средствами и, между прочим, изменением системы образования, которое становится всеобщим и общедоступным (поскольку это во власти законодательства). Борьба ведется с переменным счастьем, склоняясь то на одну, то на другую сторону, а пока паны дерутся, у хохлов чубы болят: низшая индивидуальность, личность в чистом и прямом смысле слова — человек в духовном отношении скудеет. Он, правда, развивается, может быть даже весьма сильно и быстро, но все условия его жизни толкают его, как выразился бы гр. Толстой, только к развитию, удаляя от *гармонии развития*. Начало наследственности медицинской профессии положено указами Анны Иоанновны. Представим себе, что план этот получил бы дальнейшее прочное развитие, что способные дети медиков, аптекарей и пр. в целом ряду поколений обучались бы медицине, а малоспособные, как это практиковалось относительно других профессий, пристраивались бы к толчению разных снадобий в аптекарских ступках, к закупориванию склянок, наклеиванию ярлыков и пр., и пр. Медицина при этом порядке едва ли прогрессировала бы, но корпорация, сословие медиков пользовалось бы, вероятно, весьма важным значением и весом в государстве. Однако это значение приобреталось бы на счет «гармонии развития» личностей, составляющих корпорацию. По всей вероятности, те специальные силы и способности, которые требуются медицинской профессией, получили бы в этом ряду поколений весьма высокое развитие. Но все-таки были бы в духовном отношении иска-

лечены не только тот малоспособный (к медицине, что не мешало бы ему быть гениальным математиком, поэтом, историком, философом) мальчик, который осужден завязывать до седых волос аптекарские склянки, но даже и наиболее видные члены корпорации. Ибо в них, разумеется, не было бы «полного развития человеческих сил и способностей», об котором мечтал Крыжанич, или, что то же, гармонии развития, на которой настаивает гр. Толстой. Точно так же был бы нравственно искалечен первый, лучший ученик школы ладожской команды, искалечена была бы его будущность, возможность для него полного и всестороннего раскрытия его духовных сил.

До сих пор читатель, без сомнения, со мной согласен, потому что примеры взяты у меня резкие и простые. Но попробуйте мысленно постепенно расширять пределы профессий медиков и ладожской команды. Эти сословийца сложились бы, если бы сложились, совершенно таким же путем и дали бы такие же результаты, как и сословия в общепринятом смысле слова — дворянство, купечество. Разница тут не качественная, а количественная, почему г. Владимирский-Буданов и имеет право рассматривать те и другие вместе. Он настаивает на том, что сословия везде, по крайней мере в значительную долю времени своего развития, имеют характер профессиональных корпораций. Для убеждения в этом, говорит он, достаточно одних названий древних каст Востока и сословий классического и средневекового мира: жрецы, воины, купцы, земледельцы, деалиды, халкиды, гоплеты, эгикореи, аргадеи, milites и т. д. Так что общие принципы, несомненные для наследственных медиков или наследственных чинов ладожской команды, должны быть верны и по отношению к наследственным жрецам, наследственным воинам и пр. Корпоративность, профессия, наследственность и призвание со стороны государства — вот, по мнению г. Владимирского-Буданова, главные признаки сословий, очевидно одинаково приложимые и к ладожской команде и к каким-нибудь жрецам, воинам и пр. Поэтому, как это на первый взгляд ни странно, но должно признать, что процесс истории, обобравший духовную природу чинов ладожской команды, обобрал и духовную природу каких-нибудь жрецов или воинов. А впрочем, здесь даже и на первый взгляд нет ничего странного. Не ясно ли, что древний воин, с своей односторонне развитою храб-

ростью, драчливостью, жестокостью, грубостью, весьма далек от гармонии развития? Не ясно ли, что некоторые его способности получили колоссальное развитие в ущерб другим духовным его силам? И не имеем ли мы поэтому права называть его духовную природу если не обобранною, то по крайней мере извращенною? Без сомнения, в новейшее время сословия дышат не таким спертым воздухом, как древние касты. В особенности это должно сказать о так называемом третьем сословии в Европе и о средней руки дворянстве у нас. Однако в большей или меньшей степени они все-таки остаются сословиями. Спрашивается теперь, каково должно быть миросозерцание человека, более или менее сдавленного границами сословия или какого-нибудь из его разветвлений? Очевидно, это миросозерцание будет не совсем правильное, потому что одностороннее. Оно может быть даже совсем исковерканным. Геккель рассказывает (в *generelle Morphologie*)⁵⁵, к каким результатам привели его занятия гимнастикой. Верхняя часть моей руки, говорит он, до тех пор остававшаяся почти без всякого упражнения, сделалась в каких-нибудь полтора года почти вдвое толще; это громадное развитие мускулов и связанное с ним упражнение представлений воли произвели сильное обратное действие на другие мои представления, а этому, в связи с другими причинами, я обязан тем, что господствовавшие во мне дотоле дуалистические и телеологические заблуждения сменились идеей единства и причинной связи явлений. Этот рассказ знаменитого ученого я не потому привел, что считаю его очень убедительным. Напротив, он произвел на меня несколько комическое впечатление. Но в основании его лежит, я полагаю, несомненная истина. Несомненно по крайней мере то, что миросозерцание людей, у которых в целом ряду поколений «представления воли остаются почти без упражнения», вообще говоря, должно иметь свой специальный характер. Это я говорю о миросозерцании вообще, а тем справедливее это относительно той части миросозерцания, которая ведаёт понятиями о явлениях общественной жизни. Несомненно также, что миросозерцание это, вообще говоря, должно быть тем уже, чем замкнутее и обособленнее соответствующие слои общества. Г-н Владимирский-Буданов указывает на презрение к труду и узкоутилитарные понятия русских дворян как на результаты профессиональной системы образования. Я думаю, что яв-

ления эти выработались задолго до XVIII века и, следовательно, профессиональной системы образования. Но это все равно. Так или иначе, а это выражения нравственной скудости, обусловленной сословным строем. Их можно было бы привести не одно и не два. Подобные черты нравственной скудости могут быть иногда очень тонки и неуловимы, тем более что они часто тонут в односторонней духовной роскоши. Они могут быть особенно неуловимы теперь, когда сословия все более и более развертываются для сил, прибывающих со стороны, и расплываются в общем понятии цивилизации. Однако черты эти все-таки существуют. У нас, например, часто называют Пушкина общечеловеческим поэтом. Это замечательно неверно. Пушкин есть по преимуществу дворянский, и потому его способен принять близко к сердцу и образованный немец, и образованный француз, и средней руки русский дворянин. Но ни русский купец, ни русский мужик ему большой цены не дадут. Тот круг идей и чувств, который волновал современного ему *среднего* дворянина, Пушкин исчерпал вполне и блистательно. Можно удивляться тонкости его анализа, законченности образов, можно, пожалуй, любоваться, как глубоко залезает он иногда в дворянскую душу, можно, наконец, восхищаться красотой его выражений и стиха, но все это возможно только нам, образованным людям, «обществу». Допустим, что он блистательно разработал все мотивы нашей жизни, чего, однако, допустить нельзя, но он разработал мотивы только *нашей* жизни, жизни известного специального слоя общества, на котором свет не клином сошелся и который не без пятен, потому что ведь и на солнце есть пятна.

Спрашивается, имеем ли мы право думать, что облагодетельствуем народ, привив ему Пушкина и другие наши перлы? Станный вопрос! Разве это не перлы, и разве может идти в какое-нибудь сравнение с ними то, чем пробавляется в своей темной доле народ! Да, очень странный вопрос. Его-то и задает себе так часто гр. Толстой и отвечает отрицательно: нет, не облагодетельствуем. И всякий должен будет сознаться, если только постарается отрешиться хоть временно от привычных понятий, что гр. Толстой глубоко прав. Надо заметить, что народ никогда не был сословием. Он платил подати и периодически выделял из себя единицы для пополнения рядов армии, но никакой дальнейшей

специализации в пользу высшей индивидуальности не подлежал, никакой корпорации не составлял и профессиональному образованию не подвергался. Он всегда «сам удовлетворял всем своим человеческим потребностям», тогда как система сословий в том именно и состоит, что потребности одних удовлетворяются другими. Без сомнения, сословная система отразилась и на народе весьма сильно, но при этом его духовная жизнь просто осталась на низшей ступени развития, а не подвергалась развитию одностороннему. Поэтому-то вопрос о народном образовании так сложен и щекотлив. Мы можем здесь идти по двум, совершенно несходным путям: мы можем или просто поднять развитие народа на высшую ступень, не нарушая его гармонии, то есть облегчая расцвет его духовных сил, или, объявив все, чем он живет теперь, дрянью и глупостью, привить ему свои перлы и алмазаны. Гр. Толстой решительно избирает первый путь. И весьма любопытно следить, как он в своей педагогической деятельности на каждом шагу допрашивает себя и других: сообщая народу то-то и то-то, не помнем ли мы чего-нибудь из будущих всходов, чего-нибудь, может быть, очень дорогого и высокого? Говорят о самоуверенности графа Толстого, о надменной категоричности тона его рассуждений о народном образовании. Это мнение решительно ни на чем не основано. Напротив, он скорее слишком осторожный и щепетильный скептик. Состояние его духа, как оно сквозит во всех его статьях, напоминает человека, который несет какой-нибудь очень дорогой, тяжелый и ломкий сосуд и тревожно и зорко осматривается, как бы ему не оступиться. Как бы он ни пересаливал в этом отношении, это несравненно лучше, чем развязность гг. Бунаковых, Миропольских, Медниковых и пр., которые — беру аналогическое сравнение — носятся, как бойкие ярославские половецкие в московских трактирах. Такой половец все свое достоинство полагает в том, чтобы нести чайный прибор с совершенно своеобразным шиком, чтобы чашки и чайники франтовито дребезжали на подносе, чтобы плечи и руки самого половецкого ходуном ходили. И то, впрочем, сказать: он не бог знает какой севрский фарфор несет — и разобьется, так не беда.

Что же мы дадим народу? воспитание? Этому гр. Толстой пуше всего боится.

«Так называемая наука педагогики, — говорит он, — занимается только воспитанием и смотрит на образо-

ывающегося человека как на существо, совершенно подчиненное воспитателю. Только через его посредство образовывающийся получает образовательные или воспитательные впечатления, будут ли эти впечатления: книги, рассказы, требования, запоминания, художественные или телесные упражнения. Весь внешний мир допускается к воздействию на ученика только настолько, насколько воспитатель находит это удобным. Воспитатель старается окружить своего питомца непроницаемой стеной от влияния мира и только сквозь свою научную школьно-воспитательную воронку пропускает то, что считает полезным. Я не говорю о том, что делалось или делается у так называемых отсталых людей, я не воюю с ветряными мельницами, я говорю о том, как понимается и прилагается воспитание у так называемых лучших передовых воспитателей. Везде влияние жизни отстранено от забот педагога, везде школа построена кругом китайскую стеной книжной мудрости, сквозь которую пропускается жизненное образовательное влияние только настолько, насколько это нравится воспитателям. Влияние жизни не признается. Так смотрит наука педагогика, потому что признает за собой право знать, что нужно для образования наилучшего человека, и считает возможным устранить от воспитанника всякое внес воспитательное влияние; так поступает и практика воспитания» (т. IV, 120). «Воспитание есть воздействие одного человека на другого, с целью заставить воспитываемого усвоить известные нравственные привычки. Мы говорим: они его воспитали лицемером, разбойником или добрым человеком, спартанцы воспитывали мужественных людей, французы воспитывают односторонних и самодовольных» (128). «Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое, с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим». «Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму. Воспитание есть, я не скажу, выражение дурной стороны человеческой природы, но явление, доказывающее неразвитость мысли и потому не могущее быть положенным в основание разумной человеческой деятельности — науки. *Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, каков он сам. (Стремление бедного отнять богатство у богатого, чувство зависти старого при взгляде на свежую и сильную молодость — чувство зависти, возведенное в принцип*

и теорию.) Я убежден, что воспитатель только потому может с таким жаром заниматься воспитанием ребенка, что в основе этого стремления лежит зависть к чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть больше испорченным» (124).

Подчеркнутые мною строки особенно характерны для гр. Толстого как педагога, как мыслителя и, наконец, как общественного деятеля. Строки эти взяты из крайне любопытной статьи «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Статья не отвечает на поставленный в заглавии вопрос, потому что из нее следует вывести только то заключение, что у нас крестьянским ребятам учиться нечему, а мы у них учиться не можем. Дело идет о беллетристических опытах учеников яснополянской школы. Я прямо приведу наиболее поразительное, наиболее способное смутить читателя место статьи: «На другой день я еще не верил тому, что испытал вчера. Мне казалось столь странным, что крестьянский полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую сознательную силу художника, какой на всей своей необъятной высоте развития не может достичь Гете. Мне казалось столь странным, что я, автор «Детства», заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики, что я в деле художества не только не могу указать или помочь 11-ти летнему Семке или Федьке, а что едва-едва — и то только в счастливую минуту раздражения — в состоянии следить за ними и понимать их» (227). Я читал по крайней мере один из этих рассказов (хорошенько не припомню) — «Солдаткино житье»⁵⁶. Рассказ этот был напечатан в «Ясной Поляне» и потом перепечатан не помню где, в «Азбуке» гр. Толстого или в отдельной книжке, содержащей несколько таких рассказов. Читал я его уже предупрежденный статьей гр. Толстого и, признаюсь, все-таки не нашел в нем тех красот, которые видит гр. Толстой. Весьма может быть, что это зависит от слабости или испорченности моего эстетического чутья. Теоретически, по соображению с подходящими фактами других сфер мысли и жизни, я могу, однако, понять возможность указываемого гр. Толстым явления, то есть возможность художественного превосходства Федьки над Гете, несмотря на «необъятную высоту развития» последнего. Могу я это понять потому, что не смешиваю ступеней развития с типами развития. Без

сомнения, Федьке «Фауста» не написать и не понять; не понять ему больного, измученного существа Фауста, бросающегося с вершины ненасытимой жажды познания в омут чувственных наслаждений, из которого ему удастся выплыть только в аллегорическом виде. Для этого надо самому до известной степени быть Фаустом, самому много переболеть. А какой же Федька — Фауст? Он просто здоровый физически и душевно крестьянский мальчишка. Фауст после длинного ряда походов, вдоволь намучившись сам и намучивши других, примиряется с жизнью на почве непосредственной практической пользы: он, как известно, в конце концов занимается осушением морского берега. Но этот конец жизни Фауста наступает для Федьки, как только он подрастет. Чуть у него силенки прибавилось, он уже и занимается чем-нибудь вроде осушения морского берега, минуя весь тот круг неудовлетворимых желаний и извращенных чувств, который Фауст проходит только затем, чтобы убедиться в неудовлетворимости своих желаний и извращенности своих чувств. Результат получается довольно странный. Выходит, что как-никак, а высокоразвитый Фауст имеет все резоны завидовать Федьке, которому совсем даром достается чуть не в утробе матери то самое, чего он, высокоразвитый человек, добивается, уже стоя одной ногой в гробу. А между тем Фауст — несомненно, высокоразвитый человек, а Федька — конечно, человек неразвитый. Кто же из них выше? Когда сравнивают питательность или удобоваримость говядины и свинины, то не спрашивают: что питательнее — фунт говядины или десять фунтов свинины? Это вопрос бессмысленный. Десять фунтов свинины, конечно, содержат в себе больше питательного материала, чем один фунт говядины, но это все-таки не решает вопроса о питательности того и другого мяса. Надо взять равные количества говядины и свинины. Так и тут. Фауст давит своим развитием Федьку, но это еще ровно ничего не значит. Дайте Федьке возможность подняться на высшую ступень *своего типа* развития и тогда сравнивайте. А так как возможности этой налицо нет, то можно сравнивать Фауста и Федьку не как ступени развития, а только как типы. А тип развития Федьки должно признать высшим хотя бы уже потому, что Фауст имеет все причины завидовать ему, гармонии его развития, не дающей места тем противоречиям, неудовлетворимым желаниям и извращенным чувствам,

которыми полна душа Фауста. Это, без сомнения, должно отразиться и на литературных произведениях Фауста (или Гете) и Федьки. Гр. Толстой говорит о господствующем в произведениях Семки и Федьки чувстве меры, которое он справедливо считает существеннейшим условием художественного произведения. Это чувство меры, очевидно, совершенно не зависит от *высоты* развития. Высокоразвитый Фауст может обладать им в несравненно меньшей степени, чем Федька или Семка, именно потому, что он очень высоко развит в известном одностороннем, более или менее извращенном направлении, а односторонность и чувство меры — понятия враждебные. Представим себе теперь, что Фауст, или Гете, или хоть гр. Толстой (большинство мыслящих цивилизованных людей — немножко Фаусты, оттого-то «Фауст» и есть величайшее произведение Гете) займутся воспитанием Федьки или Семки. Если воспитание есть действительно результат желания сделать другого человека себе подобным, то Фауст, конечно, исковеркает Федьку: он заставит его пройти множество совершенно ненужных, но мучительных стадий своего развития. До какой степени гр. Толстой зорко вглядывается в эту грозящую Федькам и Семкам при столкновении их с цивилизованным человеком опасность, это видно из той же статьи «Кому у кого учиться писать». Автор так описывает свое душевное состояние в те минуты, когда он убедился, что Федька — замечательный талант: «Я не могу передать того чувства волнения, радости, страха и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, чего никто никогда не имеет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно, и радостно было, как искателю клада, который бы увидел цвет папоротника; радостно мне было потому, что вдруг совершенно неожиданно открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года — искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту» (223). Через две страницы те же мысли повторяются с еще большей силой: «Я оставил урок, потому что был слишком взволнован. «Что с вами? Отчего вы так бледны, вы,

верно, нездоровы?» — спросил меня мой товарищ. Действительно, я два-три раза в жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения, и вместе с тем мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидавшему то, чего никто не видал прежде его...»

В этой страстной тираде отразился весь гр. Толстой со всеми своими противоречиями, со всею своею любовью к народу, со всеми своими надеждами и опасениями.

Итак, гр. Толстой решительно отрицает право образованных, цивилизованных людей воспитывать народ. Он совершенно вычеркивает воспитание из задач педагогики, и центр тяжести этого отрицания составляет опасение примять и извратить будущность народа, тот расцвет его сил, который пока лежит только *im Werden*, в возможности. К этому центру сходятся все его аргументы. Другое дело — образование; его гр. Толстой требует. Образование есть для него совокупность всех жизненных и школьных влияний, «которые развивают человека, дают ему более обширное мирозерцание, дают ему новые сведения» (IV, 122). Воспитание, по гр. Толстому, составляет часть образования, именно принудительную часть, причем под принуждением разумеется не столько прямое, физическое или полицейское насилие, сколько исключительный, соображенный только с желаниями учителя выбор сообщаемых сведений и приемов передачи.

Народ желает учиться, «общество» желает его учить, а толку все-таки никакого не выходит, народ остается невежественным, необразованным не только у нас, а и в Европе, где на образовании народа сосредоточено и больше усилий, и больше материальных средств. Это явление побуждает гр. Толстого пересмотреть основания того образования, которое предлагается народу. Какие это, в самом деле, основания? Какие имеет основания школа нашего времени учить тому, а не

этому; учить так, а не иначе? «Китайского мандарина, не выезжавшего из Пекина, можно заставлять заучивать изречения Конфуция и палками вбивать в детей эти изречения. Можно было делать это и в средние века, но где же взять в наше время ту силу веры в несомненность своего знания, которая бы могла нам дать право насильно образовывать народ? Возьмите какую угодно средневековую школу до или после Лютера, возьмите всю ученую литературу средних веков,— какая сила веры и твердо несомненного знания того, что истинно и что ложно, видна в этих людях! Им легко было знать, что греческий язык есть единственное необходимое условие образования, потому что на этом языке был Аристотель, в истине положений которого никто не усомнился несколько веков после. Как было монахам не требовать изучения Священного Писания, стоявшего на незыблемом основании. Хорошо было Лютеру требовать неперемennого изучения еврейского языка, когда он твердо знал, что на этом языке сам бог открыл истину людям. Понятно, что, когда критический смысл человечества еще не пробуждался, школа должна была быть догматическая» (IV, 8). Надо заметить, что «пробуждение критического смысла» имеет в устах гр. Толстого совершенно особенное значение. Это не только возникновение сомнений в известных вековых понятиях о явлениях природы, но и возникновение сомнений в справедливости известных явлений жизни общества, возникновение того чувства ответственности, которым так полон сам гр. Толстой и отсутствие которого в Анне Карениной так охотно берет под свою защиту один из пещерных критиков гр. Толстого⁵⁷ («Анна Каренина, во-первых,— барыня, во-вторых, будучи барыней, она не сознает в этом обстоятельстве никакой вины с своей стороны и не желает выйти из своего привилегированного положения». «Русский вестник», № 5). Из этого чувства ответственности вытекает, как мы видели, обязанность помочь обездоленным выбраться на свет божий. Но чувство ответственности до такой степени сильно в гр. Толстом и законность его до такой степени ясно представляется его уму, что он не может допустить, чтобы всякий имел право нести народу в виде образования без разбора все, что только у него есть за душой. Гр. Толстой и себе не дает этого права. Мы видели, как тревожно и пугливо отнесся он к факту разбуженной им в Федьке творческой силы. Он как будто

говорит: положим, некоторые понятия представляются мне несомненно истинными, и для моего домашнего обихода они годятся, удовлетворяют меня; но эта несомненность тонет в моем чувстве ответственности; откуда мне взять *такую* силу веры в несомненность своего знания, которая могла бы мне дать право насильно образовывать народ?

Слишком великим делом представляется гр. Толстому народное образование, слишком важным и ответственным, чтобы удовлетворяться обыкновенными гарантиями истинности наших понятий. Истина — это ведь только случай равновесия между потребностью познания и окружающим познаваемым миром. Она изменяется с изменением познающего субъекта и, следовательно, существенно обуславливается всей социальной обстановкой познающих. Вопрос, следовательно, и с этой стороны сводится на социальную почву, что придает новое значение постоянно присутствующему на умственных счетах гр. Толстого опасению дать народу, как он говорит, камень вместо куска хлеба. С этим же опасением в голове приступает он и к пересмотру оснований принудительного образования или воспитания или замыкания ученика в круг сведений и понятий, который представляется правильным учителю. Основания эти могут быть, по его мнению, подведены под четыре отдела: религиозные, философские, опытные и исторические. Это деление предложено им в статье «О народном образовании» (IV, 5—38). В статье «Воспитание и образование» предлагаются несколько отличные рубрики, но об них потом.

Что касается до образования, имеющего свою основую религию, то гр. Толстой признает за ним, и только за ним, право принуждения. Такое выделение религиозного образования, очевидно, вполне законно, потому что религия имеет дело с предметами веры, а не познания, земные цели подчиняет спасению души и все личные усилия разработать ее догматы отрицает. Но, замечает гр. Толстой, «в наше время, когда образование религиозное составляет только малую часть образования, вопрос о том, какое имеет основание школа принуждать молодое поколение учиться известным образом — остается нерешенным». В статье «Отечественных записок», по поводу которой г. Марков столь либерально сваливает в одну кучу г. Цветкова и гр. Толсто-

го, последний выражается еще определеннее: «Теперь всеми признано, и совершенно справедливо, по моему мнению, что религия не может служить ни содержанием, ни указанием метода образования и что образование имеет своим основанием другие требования».

Затем идут основания философские. Все основатели философских систем более или менее касались задач педагогики и приводили их в связь с своими общими философскими воззрениями. Но при этом задачи педагогики оказываются столь же много- и разнообразными, как и философские системы. Эти разнообразные системы не только сменяют друг друга во времени, но зачастую существовали и существуют бок о бок, не побора друг друга. Поэтому, даже не рассматривая их, а *rigori* можно сказать, что по крайней мере большинство их не представляет достаточных гарантий правильности выведенных из них педагогических теорий. «Проследив ход истории философии педагогики, вы найдете в ней не критерий образования, но, напротив, одну общую мысль, бессознательно лежащую в основании всех педагогов, несмотря на их частое между собою разногласие, мысль, убеждающую нас в отсутствии этого критерия. Все они, начиная от Платона и до Канта, стремятся к одному — освободить школу от исторических уз, тяготеющих над нею, хотят угадать то, что нужно человеку, и на этих более или менее верно угаданных потребностях строят свою новую школу. Лютер заставляет учить в подлиннике Священное Писание, а не по комментариям святых отцов. Бэкон заставляет изучать природу из самой природы, а не из книг Аристотеля. Руссо хочет учить жизни из жизни, как он ее понимает, а не из прежде бывших опытов. Каждый шаг философии педагогики вперед состоит только в том, чтобы освободить школу от мысли обучения молодых поколений тому, что старые поколения считали наукою, к мысли обучения тому, что лежит в потребностях молодых поколений. Одна эта общая и вместе с тем противоречащая себе мысль чувствуется во всей истории педагогики: общая — потому что все требуют большой меры свободы школ, противоречащая — потому что каждый предписывает законы, основанные на своей теории, и тем самым стесняет свободу».

Основания опытные. Может быть, принудительное образование* может сослаться на опыт, показать блестящие результаты, которых оно достигло? Но где же эти блестящие результаты? Конечно, в Европе. Гр. Толстой ссылается на свои личные наблюдения, свидетельствующие, что таких блестящих результатов там нет. Но важнейший из аргументов состоит в том, что новой народной литературы в Европе нет и что десятое поколение нужно так же насильно посылать в школу, как и первое.

Основания исторические. «Существующие школы выработались историческим путем, историческим же путем должны вырабатываться дальше и видоизменяться сообразно требованиям общества и времени; чем дальше мы живем, тем школы делаются лучше и лучше». Гр. Толстой решительно отрицает это улучшение школ. Он находит, что они становятся, напротив, все хуже и хуже; хуже относительно, сравнительно с общим уровнем образования, который достигается в данный исторический момент. Он употребляет очень любопытный прием для проверки прогресса школьного образования. Образование дается не только школой, оно дается и жизнью — развитием торговых сношений, путей

* Я прошу читателя помнить, что это не то, что у нас называется обязательным обучением. Принудительное образование народа есть замыкание его духовного развития в круг сведений и понятий, избранный по личному вкусу учителя, или общества, или правительства. Что касается до обязательного обучения, которое гр. Толстой вскользь, мимоходом также отрицает, то об нем теперь у нас разговора нет. Замечу только следующее. Обязательное обучение отрицается многими, я полагаю, только потому, что оно налагает на общество обязанность учить (гр. Толстой, конечно, не принадлежит к числу этих многих). Кроме того, следует заметить, что при всей непривлекательности насилия в деле образования (насилия прямого, полицейского) нельзя особенно негодовать против него там, где оно не составляет явления исключительного. Мне пришлось однажды присутствовать при поразительной картине учета волостного старшины. Поразительно здесь было сочетание *обязанности* выборных учитывать плута и даже двух плутов (старшины и писаря) с полнейшей беспомощностью. Я никогда не забуду этой сцены, а это, конечно, еще мелочь. Если бы возможно было снять с народа обязанность платить подати, обязанность нести военную службу и все другие многочисленные обязанности, то обязательное обучение было бы возмутительным и бессмысленным насилием. Теперь же об нем этого сказать нельзя. Я знаю, что гр. Толстой со мной не согласится. Но защита обязательного обучения может и не противоречить отрицанию принудительного образования, как его понимает гр. Толстой. Составьте только для обязательного обучения программу не по своему личному вкусу, а возможно подходящую к требованиям народа. Если дело обойдется при этом без насилия, тем лучше.

сообщения, большей степени свободы личности и участия ее в делах правления, собраниями, музеями, публичными лекциями, литературой и проч. По мере того как эти побочные, внешкольные средства образования развиваются, значение школы падает, она от них отстает. Школы в Париже или Марселе и в каком-нибудь захолустье Франции устроены одинаково, и, однако, народ в Париже и Марселе образованнее, потому что жизнь там поучительнее, чем в захолустье. В прежние времена школа давала все образование, какое было доступно исторической минуте; теперь она дает только ничтожную долю образования, и чем дальше, тем эта доля становится меньше, а главная часть образования получается не из школы, а из жизни. Значит, относительно говоря, школа не улучшается, а ухудшается, значит принудительное образование становится все более незаконным.

В конце концов у принудительного образования нет никаких оснований. «Наше мнимое знание законов добра и зла, и на основании их деятельность на молодое поколение, есть большею частью противодействие развитию нового сознания, не выработанного еще нашим поколением, а вырабатывающегося в молодом поколении; оно есть препятствие, а не пособие образованию» (эта вечная борьба «отцов и детей» довольно часто поминается гр. Толстым как явление действительно поучительное). Эту точку зрения гр. Толстой весьма последовательно проводит по всем ступеням образования. Стоя на ней, он самым решительным образом отрицает теперешнее устройство университетов и гимназий как заведений, не соображенных с потребностями молодого поколения, с вырабатывающимся в нем «новым сознанием». Столь же решительно отрицает он и нынешнюю организацию народного образования в тесном смысле слова. Известна его ересь: учите народ тому, чему он хочет учиться, критерий образования есть свобода учащегося.

Но куда же денется при этом наука педагогики? Куда денутся Шульцы, и Шмальцы, и Фибли? Они сдадутся в архив, как сданы в архив алхимики, астрологи и многие другие ученые люди. Но с ними будет похоронена наука, образование останется без научного кормила и научного весла! К такого рода возгласам подал отчасти повод сам гр. Толстой несколькими неточными и неправильными выражениями и теми противоречия-

ми, которые, согласно моей гипотезе, неизбежны и для гр. Толстого. Ну да и заступиться за науку противникам гр. Толстого было лестно: наука вещь хорошая, и в защиту ее можно написать много прекрасных и даже вполне верных, хотя и общеизвестных фраз. В сущности же, гр. Толстой, несмотря на всю свою непочтительность к Урстам и Фиблям, на деле не только не отрицает науки педагогики, но дает ей вполне ясное, оригинальное и весьма глубокое определение. Я уже его приводил. Образование есть известное отношение двух людей или двух групп людей, стремящихся к равенству познаний: одни стремятся передать знания, другие стремятся их получить. «Задача науки образования есть *только* изучение условий совпадения этих двух стремлений к одной общей цели и указание условий, которые препятствуют этому совпадению» (IV, 36). Несмотря на подчеркнутое мною *только*, по-видимому, суживающее пределы науки, я не знаю определения более полного и широкого, более способного поставить педагогику на действительно научную высоту. Но гр. Толстой не воспользовался всеми выгодами этого истинно блестящего определения. Скажу более — он ими и не мог воспользоваться вследствие слишком страстного и лихорадочного отношения к делу.

Определение это, по моему мнению, особенно дорого тем, что обнимает и учителя, и ученика, и образующее общество, и образующийся народ. В развитии же своих педагогических воззрений гр. Толстой далеко не всегда следит за обеими этими частями своей собственной формулы науки. Он преимущественно имеет в виду стремления ученика, народа. Ну хорошо, народ требует, чтобы его обучали славянскому и русскому языку и арифметике. Эта программа, особенно как ее понимает гр. Толстой, может удовлетворить не только ученика, а и учителя. Ну, а если бы народ требовал какой-нибудь ни с чем не сообразной программы? Гр. Толстой скажет, может быть, что такой программы народ не может потребовать, что требования его хотя и элементарны, но непременно разумны и справедливы. Это, однако, не будет резонным возражением, потому что мы ведь не можем поручиться, что признаваемое нами разумным и справедливым действительно таково: народ заявил требование, и мы должны его выполнить, хотя бы оно, на наш взгляд, и казалось ни с чем не сообразным. В сущности, гр. Толстой и сам понимает воз-

возможность таких случаев и даже приводит и комментирует некоторые из них. Но вместе с тем он постоянно колеблется, отдавая первое место то требованиям учителя, его идеалам, то требованиям ученика. То вытягивается его десница, поднимается тот сильный, смелый, энергичный человек, который решился во имя истины и справедливости, во имя интересов народа померяться со всей историей цивилизации; то вылезает шуйца, тот слабый, нерешительный человек, который заявил о целесообразности, законности кровавого движения народов с запада на восток и обратно, о том, что Наполеон был именно такой негодный человек, какой был нужен для целей провидения, и т. п.

Я приведу примеры десницы и шуйцы.

Я уже говорил, что в статье «Воспитание и образование» гр. Толстой располагает основания принудительного образования несколько иначе, чем они приведены выше. Правда, тут он говорит не об основаниях, а о причинах принудительного образования или воспитания. Но на деле разницы большой не выходит. Будем, однако, и мы говорить о причинах такого явления, как насилие в образовании. Причины эти, по мнению гр. Толстого, лежат: 1) в семействе, 2) в религии, 3) в государстве, 4) в обществе (в тесном смысле — у нас в кругу чиновников и дворянства). Причины, лежащие в религии, мы уже видели. Причины, лежащие в государстве, гр. Толстой только отмечает как имеющие «неоспоримые оправдания» и проходит мимо. Это очень жаль. Я полагаю, что причины эти не больше и не меньше важны, чем все другие, и никакому исключительному суду не подлежат. Я уже рекомендовал книгу г. Владимирского-Буданова гг. педагогам, а теперь рекомендую ее и гр. Толстому. Правительства столь же мало имеют права, как и все частные лица и учреждения, направлять народное образование к своим исключительным целям. И чем дальше, тем более сознают это сами правительства. Как бы то ни было, но о государственных основаниях принудительного образования гр. Толстой, собственно говоря, просто умалчивает. Остаются причины, лежащие в обществе и в семье. Первые гр. Толстой безусловно отрицает, вторые признает основательными. «Отец и мать,— он говорит,— какие бы они ни были, желают сделать своих детей такими же, как они сами, или по крайней мере такими, какими бы они желали быть сами. Стремление это так естест-

венно, что нельзя возмущаться против него. До тех пор, пока право свободного развития каждой личности не вошло в сознание каждого родителя, нельзя требовать ничего другого. Кроме того, родители более всякого другого будут зависеть от того, чем сделается их сын, так что стремление их воспитать его по-своему может назваться ежели не справедливым, то естественным». Уже из этих строк видно, что гр. Толстой намерен дать сильную поблажку семейному принудительному образованию, потому что ведь аргумент «пока право свободного развития каждой личности не вошло в сознание каждого родителя» и проч., аргумент этот, очевидно, приложим ко всем родам принудительного образования. Пока право свободного развития каждой личности не вошло в сознание каждого педагога, им, пожалуй, тоже нельзя ставить тех требований, которые предъявляет гр. Толстой. Поблажка очевидна, а в дальнейшем изложении она получает весьма солидные размеры. Четвертая причина принудительного образования лежит в потребности «общества, того общества в тесном смысле, которое у нас представляется дворянством, чиновничеством и отчасти купечеством. Этому обществу нужны помощники, потворщики и участники». Я не стану приводить всех аргументов гр. Толстого против принудительного «общественного» образования. Они не всегда справедливы, всегда остроумны и очень часто отличаются замечательною глубиною. Характер их должен уже уясниться читателю из всего предыдущего. Я остановлюсь только на точках враждебного столкновения семейного насилия в образовании с насилием «общественным». Чтобы удобнее проследить все ступени принудительного образования, от элементарной школы до университета, гр. Толстой берет в пример историю образования сына не крестьянина, а небогатого купца или мелкопоместного дворянина. Родители эти, предполагает гр. Толстой, отдали детей в ученье «в надежде сделать из них себе помощников, одному — помочь сделать свое маленькое именье производительным, другому — помочь повести правильнее и выгоднее торговлю». Но оказывается, что молодые люди, возвращаясь под родительский кров по окончании университетского курса, не только не способны, не могут, не умеют и не хотят оправдывать надежды родителей, но совершенно чужды родной среде, не имеют с ней ничего общего. Это возму-

щает гр. Толстого. «Посмотрите,— говорит он с укором,— как сын крестьянина приучается быть хозяином, сын дьячка, читая на клиросе, быть дьячком, сын киргиза-скотовода быть скотоводом; он смолоду уже становится в прямые отношения с жизнью, с природой и людьми, смолоду учится плодотворно, работая». Я отнюдь не думаю защищать наличную систему школьного образования. Но если эта система нехороша тем, что замыкает ученика в круг понятий и сведений, избранный личными вкусами воспитателей, то чем же от нее отличается система, при которой сын дьячка уже смолоду обрекается быть дьячком и сын скотовода — скотоводом? Почему стремление купца засадить своего сына в лавку менее деспотично, чем стремление «общества» получить себе «помощников, потворщиков и участников»? По какому праву вы хотите запереть человека в круг идей и чувств его среды, даже не справляясь, какова эта среда? На все эти вопросы я не нахожу ответов у гр. Толстого, да и не могу найти, потому что все его рассуждения о законности семейного принудительного воспитания представляют его шуйцу. Они высказаны в минуту ослабления мысли и энергии, когда гр. Толстому хочется предоставить так интересующее его дело суду и воле божией, предоставить дело его собственному течению в надежде, что из этого выйдет все-таки что-нибудь лучшее, чем при нашем вмешательстве. На мои вопросы гр. Толстой потому не может дать удовлетворительных ответов, что эти же вопросы и тем же тоном он задает другим, когда девица пересиливает шуйцу. В той же статье, из которой взяты приведенные рассуждения, я нахожу следующие строки: «Я знаю барышника-дворника, постоянно подлыми путями сбивающего себе копейку, который на мои увещания и подольщения отдать славного 12-летнего своего сынишку ко мне в яснополянскую школу, в самодовольную улыбку распуская свою красную рожу, постоянно отвечает одно и то же: «Оно так-то так, ваше сиятельство, да мне нужнее всего прежде напитать его своим духом». И он его везде таскает с собою и хвастается тем, что 12-летний сынишка научился обдывать мужиков, ссыпающих отцу пшеницу. Кто не знает отцов, воспитанных в юнкерах и корпусах, считающих только то образование хорошим, которое пропитано тем самым духом, в котором эти отцы сами воспитались» (125). В другой статье («Яснополянская школа за но-

ябрь и декабрь месяцы») тот же вопрос затрагивается и решается еще энергичнее. Описывается, между прочим, прогулка гр. Толстого с некоторыми учениками яснополянской школы по лесу ночью. Обстановка, предыдущие занятия (только что читали «Вия» Гоголя), разговоры о разных страшных историях, о Кавказе, о пении, о музыке, все это подняло тон душевного настроения маленького общества. Самый процесс поднятия этого тона описан с изумительным мастерством. Но еще изумительнее сопоставление этого высокого тона со «средой», с тем миром фактической обстановки, в который надо же было наконец вернуться из лесу. Я не могу привести здесь всего описания прогулки, но не могу отказать себе в удовольствии выписать по крайней мере вторую его часть — возвращение из лесу. Не забудьте только, что идут люди, полные необыденных чувств и мыслей, настроенные на высокий лад. Идут. И вот что они встречают:

«Мы пошли к деревне. Федька все не пускал моей руки,— теперь, мне казалось, уж из благодарности. Мы все были так близки в эту ночь, как давно уже не были. Пронька пошел рядом с нами по широкой дороге деревни. «Вишь, огонь еще у Мироновых!»— сказал он. «Я нынче в класс шел, Гаврюха из кабака ехал,— прибавил он,— пья-я-яный, распьяный: лошадь вся в мыле, а он-то ее ожаривает... Я всегда жалею. Право! за что ее бить».—«А надясь батя,— сказал Семка,— пустил свою лошадь из Тулы, она его в сугроб и завела, а он спит, пьяный».—«А Гаврюха так по глазам и хлещет... и так мне жалко стало,— еще раз сказал Пронька:— за что он ее бил? Слез, да и хлещет». Семка вдруг остановился. «Наши уж спят»,— сказал он, вглядываясь в окна своей кривой черной избы. «Не пойдете еще?»— «Нет».—«Пра-а-щайте, Л. Н.»,— крикнул он вдруг и, как будто с усилием оторвавшись от нас, рысью побежал к дому, поднял шеколду и скрылся. «Так ты и будешь разводить нас — сперва одного, а потом другого?»— сказал Федька. Мы пошли дальше. У Проньки был огонь, мы заглянули в окно: мать, высокая, красивая, но изнуренная женщина с черными бровями и глазами, сидела за столом и чистила картошку; на середине висела люлька; математик второго класса, другой брат Проньки, стоял у стола и ел картошку с солью. Изба была черная, крошечная, грязная. «Пропasti на тебя нет!»— закричала мать на Проньку.— Где был?» Про-

нька кротко и болезненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что он не один, и сейчас переменяла выражение на нехорошее, притворное выражение. Остался один Федька. «У нас портные сидят, оттого свет»,— сказал он своим смягченным голосом. «Нынешнего вечера прощай, Л. Н.»,— прибавил он тихо и нежно и начал стучать кольцом в запертую дверь. «Отоприте»,— прозвучал его тонкий голос среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. Я заглянул в окно: изба была большая; с печи и лавки виднелись ноги; отец с портными играл в карты, несколько медных денег лежало на столе. Баба, мачеха, сидела у светца и жадно глядела на деньги. Портной, прожженный ерыга, молодой мужик, держал на столе карты, согнутые лубком, и с торжеством глядел на партнера. Отец Федьки, с расстегнутым воротником, весь сморщившись от умственного напряжения и досады, переминал карты и в нерешительности сверху замахивался на них своею рабочею рукой. «Отоприте!»— Баба встала и пошла отпирать. «Прощайте!»— еще раз повторил Федька,— всегда так давайте ходить».

Я вижу людей честных, добрых, членов благотворительных обществ, которые готовы дать и дают одну сотую своего состояния бедным, которые учредили и учреждают школы и которые, прочтя это, скажут: нехорошо!— и покачают головой. Зачем усиленно развивать их? Зачем давать им чувства и понятия, которые враждебно поставят их к своей среде? Зачем выводить их из своего быта? Я не говорю уже о тех, выдающих себя головой, которые скажут: хорошо будет устройство государства, когда все захотят быть мыслителями и художниками, а работать никто не станет! Эти прямо говорят, что они не любят работать, и потому нужно, чтобы были люди не то что неспособные для другой деятельности, а рабы, которые работали бы за других. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить их из их среды и т. д.— кто это знает? И кто может вывести их из своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дело. Федька не тяготится своим оборванным кафтаном, но нравственные вопросы и сомнения мучат Федьку, а вы хотите дать ему три рубля, катехизис и историйку о том, как работа и смирение, которых вы сами терпеть не можете, одни полезны для человека. Три рубля ему не нужны, он их найдет, когда они ему понадобятся, а работать научится без вас, так же как

дышать; ему нужно то, до чего довела вас ваша жизнь, ваших десять не забитых работой поколений. Вы имели досуг искать, думать, страдать,— дайте же ему то, что вы выстрадали, ему этого одного и нужно; а вы, как египетский жрец, закрываетесь от него таинственной мантией, зарываете в землю талант, данный вам историей. Не бойтесь, человеку ничто человеческое не вредно. Вы сомневаетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманет вас. Поверьте его природе, и вы убедитесь, что он возьмет только то, что заповедала вам передать ему история, что страданиями выработалось в вас» (280 и след.).

Описание прогулки по лесу замечательно во многих отношениях: и по художественности формы (я преимущественно именно этот рассказ имел в виду, когда говорил, что в IV томе есть вещи, даже в чисто художественном отношении превосходящие, может быть, все написанное гр. Толстым), и по глубине вложенного в эту форму содержания, и, наконец, для характеристики гр. Толстого. Дело в том, что прогулка в лесу есть единственное в своем роде художественное произведение гр. Толстого. Мир народа и мир «общества» часто сопоставляются им, но, как мы уже видели, всегда с такой стороны, с которой народ оказывается выше общества,— цивилизованные люди или завидуют народу, или, самоуверенно вторгаясь в его жизнь, только портят ее. Эффекта этого гр. Толстой достигает не тем грубым приемом, по которому герои одной среды меряются с пигмеями другой; он не идеализирует мужика, оставляет его и пьяницей, и невеждой и не делает из барина карикатуры. Но свет и тень располагаются все-таки так, что барин со всем своим развитием оказывается плох, а если не плох, так в нем по крайней мере по временам вспыхивает страстное желание жить жизнью мужика. В прогулке в лесу те же два мира поставлены иначе и опять-таки без всякого грубого эффекта: крестьянские мальчики, уже подготовленные своим школьным образованием, удаляются на несколько минут в мир идей и чувств, чуждых их среде, и затем возвращаются в мир действительности, к своим пьяным и грубым отцам. Только. Но вы понимаете, что картинка эта в корень подрывает все рассуждения о преимуществах семейного насилия в образовании перед всеми другими видами насилия. А затем и сам гр. Толстой принимается комментировать эту картинку и доказы-

вать, что он был прав, шевеля души Федьки, Семки и Проньки необыденными, несвойственными их среде мыслями.

Мысль, вложенная в прогулку по лесу, в художественной, образной форме у гр. Толстого нигде больше не воспроизводится. Нигде цивилизованный человек не рисуется им со стороны того, чем он может и должен быть полезен народу. «Десять не забытых работой поколений» нигде не представляются гарантией какой бы то ни было высоты. Напротив, они представляются веками порчи и извращения человеческой природы. Потому-то я и назвал прогулку единственным в своем роде художественным произведением гр. Толстого. Однако мысль, вложенная в прогулку, довольно часто разрабатывается в его педагогических статьях. Наконец, на ней построена вся его педагогическая деятельность. Только потому он и учит и пишет, что признает за собой право и обязанность сообщить народу нечто такое, чего ему не хватает. При этом его десница отодвигает все препятствия, какие только попадают на пути, будь то деспотизм семейства или общества, обстановка той или другой среды, те или другие предрассудки. Но у гр. Толстого есть и шуйца. Она побуждает его, напротив, оставлять препятствия в покое, охранять неприкосновенность установившихся предрассудков и среды в том странном расчете, что «не случайно, а целесообразно окружила природа земледельца земледельческими условиями, горожанина — городскими». Распространите только этот афоризм, на что вы имеете полное логическое право, и вы смело можете утверждать, что не случайно, а целесообразно природа окружила Карениных, Вронских и Облонских теми условиями, которыми они окружены; что не случайно, а целесообразно природа окружила нищего нищенскими условиями и невежду условиями невежества. И вы оправдаете всякий мрак и всякую мерзость, и пещерные люди возликуют, не подозревая, что для них нисколько не благоприятна исходная точка противоречий гр. Толстого, та точка, где его мысль раздваивается. И вот опять поднимается десница гр. Толстого и энергически сметает все, что натворила шуйца. Таково приведенное мною противоречие в оценке принудительного семейного образования. Таковы и другие его не менее бросающиеся в глаза противоречия. Таковы же и противоречия, указанные г. Марковым.

Я хотел бы, чтобы читатель не только узнал гр. Толстого, а и получил к нему то уважение, которым проникнут я, чтобы читатель не только не обегал IV тома сочинений гр. Толстого, а, напротив, видел бы в нем ключ ко всем произведениям знаменитого писателя и читал бы его с полной уверенностью найти в нем много и много в высокой степени поучительного; чтобы читатель отнюдь не смущался тем печальным обстоятельством, что гр. Толстой как мыслитель опозорен похвалами пещерных людей. Но не достиг ли я скорее противоположного результата разъяснением целого ряда, мало того — целой системы противоречий гр. Толстого? Не подорвал ли я, напротив, в читателе доверие к этому человеку, способному дать противоположные суждения об одном и том же предмете? Я не могу этого думать, потому что все эти противоречивые суждения не подорвали же во мне доверия и уважения к гр. Толстому как к мыслителю. Дело в том, что противоречия противоречиям рознь. Противоречия писаки, который говорит сегодня одно, а завтра другое, глядя по тому, кто ему платит и обидело или не обидело его то или другое учреждение или лицо; противоречия, вытекающие из небрежности и легкомыслия, и т. п., словом — противоречия, вызванные не внутренним процессом умственной работы, постоянно направленной к одной цели, а сторонними причинами, конечно, должны подрывать доверие и уважение. Не таковы противоречия гр. Толстого. Я бы сравнил их с теми, которых можно немало найти у Прудона. Замечу, что по складу ума, а отчасти и по взглядам гр. Толстой вообще напоминает Прудона. Та же страстность отношений к делу, та же стремление к широким обобщениям, та же смелость анализа и, наконец, та же вера в народ и в свободу. Конечно, противоречия Прудона не могут быть уложены в такую правильную систему, какая допускается противоречиями гр. Толстого. Прудон желал положить весь мир, все познаваемое и непознаваемое, и мир планет, и мир человеческих действий, и наши представления о высшем существе к ногам справедливости (justice). Громадность задачи и страстность работы неизбежно приводили к противоречиям, общий характер которых уловить, однако, нельзя. Задача гр. Толстого тоже велика, работа его тоже страстна, но у него есть и еще источник противоречий. Легко было Прудону веровать в народ и требовать от других такой же веры, когда он сам вы-

шел из народа, — он веровал в себя. Такого непосредственного единения между гр. Толстым и народом нет. Легко было Прудону смело констатировать оборотную сторону медали цивилизации, когда эта обратная сторона непосредственно давила его и близких его. Такого давления гр. Толстой не испытывает. Легко было Прудону говорить, что, выражаясь словами гр. Толстого, «в поколениях работников лежит и больше силы, и больше сознания правды и добра, чем в поколениях лордов, баронов, банкиров и профессоров». Прудону было легко говорить это, когда отец его был бочаром, мать кухаркой, а сам он наборщиком; когда он имел право сказать одному легитимисту: «У меня четырнадцать прадедов крестьян⁵⁸, назовите хоть одну фамилию, которая насчитывала бы столько благородных предков». Но гр. Толстой находится скорее в положении того легитимиста, который получил этот отпор. Оставьте в стороне вопрос о том, верны или неверны те выводы, к которым пришел Прудон, и те, к которым пришел гр. Толстой. Положим, что и те и другие так же далеки от истины, как пещерные люди от гр. Толстого. Обратите внимание только на следующее обстоятельство: вся обстановка, все условия жизни, начиная с пеленок, гнали Прудона к тем выводам, которые он считал истиной; все условия жизни гр. Толстого, напротив, гнали и гонят его в сторону от того, что он считает истиной. И если он все-таки пришел к ней, то, как бы он себе ни противоречил, вы должны признать, что это — мыслитель честный и сильный, которому довериться можно, которого уважать должно. Самые противоречия такого человека способны вызвать в читателе ряд плодотворных мыслей.

Продолжаю делиться с читателями теми, которые он вызвал во мне.

Любопытнейшее противоречие гр. Толстого состоит в том, что он отрицает не только научный характер той педагогической окрошки, которую стряпают гг. Миропольские и пр., он отрицает науку педагогики в принципе (по крайней мере, он говорит такие слова) и в то же время дает лучшее и полнейшее определение «науки образования». Педагогика изучает условия, благоприятствующие и препятствующие совпадению стремлений ученика и учителя к общей цели равенства образования. Таково определение гр. Толстого. Я полагаю, что оно не только верно и полно, но может служить proto-

типом определений всех социальных наук. Не буду об этом распространяться и обращу только внимание читателя на те специальные выгоды, которые представляет предлагаемая гр. Толстым конструкция педагогики и которыми сам он не воспользовался. Сам гр. Толстой обращает попеременно исключительное внимание то на один, то на другой элемент, условия совпадения которых должны составить предмет науки. То он кладет все гири на чашку весов образовывающихся и требует, чтобы образовывающий, «общество» слушалось голоса народа и совершенно устранило свои собственные взгляды; то, наоборот, что, впрочем, в крайней, исключительной форме встречается у него реже, предлагает образовывающему действовать на свой страх. Эти колебания, очевидно, вовсе не соответствуют его определению педагогики и обуславливаются чисто личными причинами. Он боится оставить народ на произвол судьбы, но боится и вмешательства цивилизованных людей в его жизнь. Он страстно ищет такой нейтральной почвы, на которой общество и народ могли бы сойтись безобидно. Ему кажется, что он нашел такую почву — в знаниях. Не пытайтесь, часто говорит он, формировать верования, убеждения, характер учащихся, на то вы не имеете ни права, ни умения, давайте народу знания, больше вам дать нечего. Но это все-таки не решает вопроса, потому что знания должны передаваться в каком-нибудь порядке, в какой-нибудь системе. А не будут ли этот порядок и эта система представлять собою уже нечто большее, чем голое знание? Известное расположение знаний и известная их передача могут уже формировать убеждения и верования.

В «Ясной Поляне» гр. Толстой много писал об том, какие знания и в каком порядке могут сообщаться учащимся в народной школе. Ныне он значительно упростил программу и, повинувшись, как он справедливо говорит, голосу народа, требует для народных школ арифметики и русского и славянского языков. Но с русским языком опять беда, и я удивляюсь, как никто из оппонентов гр. Толстого не обратит на это внимания. Славянская грамота и арифметика не дают произволу учителя никакого простора, но учиться русскому языку значит, между прочим, читать; что же мы дадим народу читать: можно дать Гоголя, можно дать Франциско Веллениана⁵⁹, рассказы из естественной истории, «Азбуку» гр. Толстого, книжки бар. Корфа, г. Водовозова⁶⁰ и пр.,

и пр. Нужна же какая-нибудь руководящая нить, а с нею вместе поднимается и все, по-видимому, порешенное. Гр. Толстой и сам чувствует, что знания не составляют нужной ему нейтральной почвы и что для того, чтобы найти ее, надо сделать уступку учителю, его идеалам. В много раз упомянутой статье «Воспитание и образование» он говорит: «Но как же, скажут мне, образовывающему не желать посредством своего преподавания произвести известное воспитательное влияние? Стремление это самое естественное, оно лежит в естественной потребности при передаче знания образовывающемуся. Стремление это только придает образовывающему силы заниматься своим делом, дает ту степень увлечения, которая для него необходима. Отрицать это стремление невозможно, и я об этом никогда не думал; существование его только сильнее доказывает для меня необходимость свободы в деле преподавания. Нельзя запретить человеку, любящему и читающему историю, пытаться передать ученикам то историческое воззрение, которое он имеет, которое он считает полезным, необходимым для развития человека, передать тот метод, который учитель считает лучшим при изучении математики или естественных наук: напротив, это предвидение воспитательной цели поощряет учителя. Но дело в том, что воспитательный элемент науки не может передаваться насильственно. Не могу достаточно обратить внимание читателя на это обстоятельство. Воспитательный элемент, положим в истории, в математике, передается только тогда, когда учитель страстно любит и знает свой предмет; тогда только любовь эта сообщается ученикам и действует на них воспитательно. В противном же случае, то есть когда где-то решено, что такой-то предмет действует воспитательно и одним предписано читать, а другим слушать, преподавание достигает совершенно противоположных целей, то есть не только не воспитывает научно, но отвращает от науки. Говорят, наука носит в себе воспитательный элемент (*erziehliches Element*), — это справедливо и несправедливо, и в этом положении лежит основная ошибка существующего парадоксального взгляда на воспитание. Наука есть наука и ничего не носит в себе. Воспитательный же элемент лежит в преподавании наук, в любви учителя к своей науке и в любовной передаче ее, в отношении учителя к ученикам. *Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее,*

и ученики полюбят и тебя и науку, и ты воспитаешь их, но сам не любишь ее, то сколько бы ты ни заставлял учить, наука не произведет воспитательного влияния. (Курсив гр. Толстого.) И тут опять одно мерило, одно спасенье, опять та же свобода учеников слушать или не слушать учителя, воспринимать его воспитательное влияние, то есть им одним решать, знает ли он и любит ли свою науку» (IV, 167). Последние слова справедливы относительно высшего образования. Университеты, как настаивает на этом гр. Толстой, действительно могут быть устроены так, что студенты будут иметь право слушать того или другого профессора, ту или другую науку в том или другом объеме, причем университеты будут уже, разумеется, не тем, что они ныне. Но как применить этот принцип к народному образованию? Допустив полнейшее самоуправление в этом деле, вы дадите решающий голос все-таки не ученикам, не Федьке, Семке и Проньке, а их отцам, тем самым отцам, которых ребята встретили после прогулки в лесу. По чисто практическим соображениям требования этих отцов до известной степени непременно должны быть уважены, тем более что на деле, разумеется, не может быть большого разногласия между поколениями отцов и детей в крестьянском быту, они живут медленнее нас. Но при определении границы удовлетворения этих требований, согласно определению педагогики, должна быть выслушана и другая заинтересованная сторона. Любовь учителя к науке и знанию ее, без сомнения, составляют первые и необходимейшие условия совпадения стремлений учителя и ученика. Как же быть, если учитель будет требованиями учеников и их отцов оскорбляем в своем знании и в своей любви к науке? У него опустятся руки, и из хорошего, знающего и преданного делу учителя выйдет небрежный и озлобленный. Я полагаю, что предел законных требований может быть выражен так: никакие отцы, никакие учителя, никакие учреждения не имеют права ограничивать образование молодых поколений своими личными целями, делать из них, как выражается гр. Толстой, себе потворщиков, помощников и слуг. Так, например, требования того барышника, который не хотел отдавать сына в школу, а хотел сделать его приказчиком, преданным его, барышника, интересам, требования эти удовлетворению ни в каком случае не подлежат (отсюда одна из причин законности обязательного обучения). Это со-

вершенно соответствует определению педагогики, данному гр. Толстым, равно как и другим его воззрениям. В народе он ценит не его грубость, невежество и предрассудки, а незапятнанную грехом «десяти не забытых работой поколений» совесть и способность самому удовлетворять всем своим нуждам, то есть способность не иметь слуг и не быть ничьим слугой. В «обществе» он ценит не инстинктивное или сознательное стремление обратить народ в своего слугу, а те подлежащие научной проверке знания и комбинации знаний, которые даны ему вековым досугом. Я думаю, что программа элементарных народных училищ, предложенная гр. Толстым, за ничтожными исключениями, может удовлетворить законным требованиям и учителей, и учеников с их отцами. Огромное большинство великороссов (о других не берусь судить), как должно быть известно каждому, по разным причинам ценит именно русскую, славянскую грамоту и арифметику. Думаю, что некоторую пользу могут принести тут и много осмеянные дьячки, и отставные солдаты. С этой программой должны быть сообразованы и учительские семинарии, и другие рассадники народных учителей, но именно только сообразованы. Для выбора материала для русского чтения нужно несколько больше знаний, чем какими обладают дьячки, священнослужители, отставные солдаты и проч., хотя все эти учителя неоспоримо хороши тем, что дешевы и находятся под рукой. Смущенный трудами наших педагогов и квазинаучным характером их деятельности, гр. Толстой отрицает возможность знать, какие сведения и в каком порядке должны сообщаться ученикам, какие приемы при этом должны употребляться, какое действие должно произвести на ученика то или другое педагогическое явление, словом опять-таки отрицает педагогию. Что Шольцы, Шмальцы и Фибли никому не нужны и менее всего народным учителям — это верно. Что наши известные и известнейшие педагоги в деятельности своей движутся ошупью, наобум, не руководствуясь какими бы то ни было законами педагогических явлений, хотя и много говорят о науке, — это тоже верно. Но верно и то, что законы педагогических явлений уловимы. Сошлюсь на самого гр. Толстого. В своих педагогических статьях он, ссылаясь на опыт и наблюдение, доказывает, что в детях исторический интерес является после художественного и что исторический интерес возбуждается прежде всего

познаниями по новой, а не по древней истории (353, 354); что интерес географический возбуждается познаниями естественно-научными и путешествиями (372); что старые воззрения на мир разрушаются прежде всего законами физики и механики, тогда как нас учат сначала физической географии, которая отскакивает как от стены горох (365), и проч., и проч., и проч. Выработка и проверка подобных законов педагогических явлений (ими занят не один гр. Толстой, их изучают и европейские психологи) должны составить предмет науки педагогики и определять порядок материала для чтения в народных школах. Они именно указывают на условия совпадения стремлений ученика и учителя и, следовательно, вполне укладываются в то определение педагогики, которое дал гр. Толстой.

Проект организации школьного дела, предложенный гр. Толстым, я защищать не буду.

Ну что, читатель? Положа руку на сердце, знали вы гр. Толстого, своего любимого писателя? Не прав ли я был, говоря, что, несмотря на всю свою известность, он совершенно неизвестен? Будущий историк русской литературы разберет, в чем тут дело, а дело-то любопытное, будет над чем поработать. В ожидании этого историка я только хотел привлечь внимание читателя на те стороны литературной деятельности гр. Толстого, которые доселе оставались «явлением, пропущенным нашей критикой».

ПРИМЕЧАНИЯ

ДЕСНИЦА И ШУЙЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО

Печатается по изданию: Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957.

Первая редакция этой работы составляла VII, IX, X и XI разделы цикла Михайловского «Записки профана» (1875—1877), которые были опубликованы в майском, июньском и июльском номерах «Отечественных записок» за 1875 г. В собраниях сочинений Михайловский печатал цикл полностью, но в 1887 г в первом выпуске «Критических опытов» он выделил эти разделы цикла под названием «Десница и шуйца Льва Толстого» как самостоятельное сочинение, сократив и переработав текст указанных разделов.

Причины этой переработки Михайловский объяснял тем, что отдельные очерки «Записок профана» были насыщены многочисленными отступлениями и «полемическими экскурсиями». «Для предполагаемой книжки,— писал Н. К. Михайловский,— я постарался все это устранить, тщательно выделив лишь то, что относится к характеристике графа Л. Н. Толстого. Однако следы первоначального облика всей работы там и сям сохранились, и я прошу читателя снисходительно отнестись к возникшим отсюда неровностям и шероховатостям, обнаруживающимся уже при самом приступе к делу: подробности специально педагогической распри, из-за которой сыр-бор загорелся, я старался устранить по возможности совсем» (Михайловский Н. К. Критические опыты. СПб., 1887. Т. 1. С. 3).

В «Литературных воспоминаниях...» Михайловский так писал об истории создания своей первой крупной работы о Толстом: «В 1874 г. гр. Толстой обратился к Некрасову с письмом (оно у меня сохранилось), в котором просил, чтобы «Отечественные записки» обратили внимание на его, гр. Толстого, пререкания с профессиональными педагогами в московском комитете грамотности. Граф выражал лестную для нашего журнала уверенность, что мы внесем надлежащий свет в эту педагогическую распрю. Письмо это, совершенно неожиданное, возбудило в редакции большой интерес. Собственно Некрасов не особенно высоко ценил спор о преподавании грамоты в народных школах, но гр. Толстой обещал отплатить за услугу услугой,

разумея свое сотрудничество по беллетристическому отделу, и Некрасов, как опытный журналист, хорошо понимал значение сотрудничества автора «Войны и мира». (...) В конце концов порешили на том, чтобы предложить самому гр. Толстому честь и место в «Отечественных записках»: он, дескать, достаточно крупная и притом вне литературных партий стоящая фигура, чтоб отвечать самому за себя, а редакция оставляет за собой свободу действия. Но гр. Толстому этого было мало. В новом письме Некрасову он повторял уверенность, что у него с «Отечественными записками» никакого разногласия быть не может, и, выражая готовность прислать статью по предмету спора, настаивал на том, чтобы наш журнал предварительно сам высказался. Я взял на себя труд познакомиться с делом, и мы обменялись по этому случаю с гр. Толстым несколькими письмами. Я взялся сначала именно только познакомиться с делом, отнюдь не обязываясь писать о нем, и взялся не потому, чтобы очень интересовался вопросом о методах преподавания грамоты, а просто в качестве горячего почитателя гр. Толстого как художника (...) Действительно, я добросовестно принялся за разные методички, учебники, статьи, посвященные вопросам о методе звуковом, буквослагательном и проч., в том числе и за старые педагогические статьи гр. Толстого, составляющие четвертый том его сочинений. На все это, при обилии других занятий, потребовалось столько времени, что гр. Толстой меня не дождался: статья его «О народном образовании» была напечатана в сентябрьской книжке «Отечественных записок» за 1874 г. и вызвала целую бурю как в общей, так и специально-педагогической литературе. Я же мог утилизировать плоды своего педагогического изучения только в январе 1875 года. (...) Изучив четвертый том сочинений гр. Толстого, на который я прежде, вместе с большинством читателей, обращал очень мало внимания, я был поражен смелостью, широтою, искренностью взглядов автора, весьма далеких от элементарной педагогической техники. Для меня это было целое открытие, и легко убедиться, что не для одного меня. (...) Да и весь четвертый том проникнут таким бурным и глубоким демократизмом, таким «культом народа», как сказал бы, не совсем, впрочем, правильно, г. Боборыкин, что упомянутые восторги критики можно было объяснить только незнакомством с подлинными взглядами г. Толстого» (М и х а й л о в с к и й Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1905. Т. 1. С. 199—201).

Подробнее об отношении Михайловского и редакции «Отечественных записок» к Толстому и о полемике, разгоревшейся вокруг их статей, см. в книге Б. М. Эйхенбаума «Лев Толстой. Семидесятые годы» (Л., 1974. С. 40—65).

Цитируя Толстого, Михайловский ссылается на издание: Толстой Л. Н. Соч. М., Т. 4. 1873.

¹ Он (Магницкий — Б. А.) отрицал университеты — М. Л. Магницкий (1778—1855), попечитель Казанского учебного округа и университета, член Главного управления училищ, в частности, в докладе о ревизии Казанского университета обвинил его состав в безнравственном и безбожном направлении преподавания и потребовал немедленной ликвидации университета

² В. И. Аскоченский (1813—1879), писатель, публицист, журналист, издатель журнала «Домашняя беседа для народного чтения», автор антинигилистического романа «Асмодей нашего времени» (1858) Был постоянным объектом насмешек демократической журналистики В. С. Курочкин посвятил ему стихотворение «Печальный рыцарь тьмы кромешной» (1861).

³ Даже г. Страхов, которого трудно представить рядом с гр. Толстым иначе как в коленопреклоненной позе, даже и тот хотя и погладил его по головке, но в значительной степени против шерсти — Говоря о «коленопреклоненной позе», Михайловский скорее всего имеет в виду предисловие к книге литературного критика, философа и публициста Н. Н. Стрхова (1828—1896) «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом», в котором Страхов писал «Задолго до нынешней славы Толстого, до восторгов, вызванных его произведениями за границей и повторенных у нас я почувствовал великое значение этого писателя Во всяком случае, я могу сослаться на этот факт как на доказательство живости и независимости чувства, внушавшее мне поклонение, которое я с тех пор исповедываю» (СПб, 1885 С. IV) В том смысле, о котором пишет Михайловский, можно истолковать следующие слова в отзыве Стрхова о статье Толстого «Не мудрено, что эта статья возбудила всеобщее внимание таково уж свойство всего, что пишет гр Л. Н. Толстой Сила его заключается не в необычности содержания, не в эффекте изложения, а в той простоте и искренности » (Там же С. 392)

⁴ Е. Л. Марков (1835—1903), писатель, критик, публицист, педагог, в 1859—1870 гг учительствовавший в Туле, выступил в «Русском вестнике» (1862 № 5) с критикой взглядов Толстого, выраженных им в статье «О народном образовании» (Ясная Поляна, 1862 № 1)

⁵ В Московском обществе любителей российской словесности кто то читал отрывок из ненапечатанной еще тогда второй части «Анны Карениной» — 16 февраля 1875 г. на заседании Общества поэт и критик Б Н Алмазов (1827—1876) прочел по корректурам журнала «Русский вестник» XXX главу первой части «Анны Карениной». Отчет о заседании Общества и посланная Толстому телеграмма были опубликованы в «Московских ведомостях» и «С -Петербургских ведомостях» Об этом см. Гусев Н. Н.: Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год М, 1963, С. 369.

⁶ *Вот и г. Бунаков... пишет, что... статья гр. Толстого есть сплошная нелепость...*— Статья видного представителя звукового метода обучения Н. Ф. Бунакова (1837—1904) «Письмо редактору „Семья и школы“» действительно была написана в резком тоне. Впоследствии Бунаков признал справедливость ряда положений статьи Толстого.

⁷ *...против версальского склада жизни...*— то есть богатой и пышной жизни французской придворной аристократии до революции 1789 г.

⁸ *Декларации прав...*— Имеются в виду Декларация независимости Соединенных Штатов, принятая в Филадельфии в 1776 г. в период национально-освободительной Войны за независимость Северной Америки, и Декларация прав человека и гражданина, провозглашенная Учредительным собранием в начале Великой французской революции в 1789 г.

⁹ *Карл Моор* — герой драмы Шиллера «Разбойники» (1781).

¹⁰ *Кифа Мокиевич* — персонаж поэмы Гоголя «Мертвые души», любитель пустых и многословных рассуждений.

¹¹ *Рупост* (фр.) —ответный выпад.

¹² *Спенсер сочиняет социологию... а радикалу и торию говорит: благодарю вас за все ваши глупости, потому что они свое определенное место в истории займут...*— Михайловский имеет в виду следующую цитату из труда Г. Спенсера «Изучение социологии», которую он приводил и комментировал в «Записках профана»: «Для радикала очевидно, что предрассудки тория не позволяют ему видеть много зла в настоящем и добра в будущем. Для тория не подлежит сомнению, что радикал не сознает добра, скрытого в учреждении, которое хочет он уничтожить, и не умеет понять зла, которое должно произойти от перемены, предлагаемой им. Ни тому, ни другому не приходит в голову, что его противник играет не менее полезную роль, чем он сам» (Михайловский Н. К. Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1909—1913. Т. III. С. 371. В дальнейшем: Михайловский Н. К.).

¹³ Автором статьи был видный теоретик народничества, философ и социолог П. Л. Лавров, в 1870 г. бежавший из ссылки за границу и поэтому публиковавший свои работы в «Отечественных записках» без подписи.

¹⁴ *...все идет к лучшему в сем наилучшем из миров...*— ставшие афоризмом слова Панглоса из философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм».

¹⁵ В третьей главе первой части пятитомной «Истории Англии от восшествия на престол Якова II» ее автор, английский историк, публицист и общественный деятель Т. Б. Маколей (1800—1854), писал о торжестве прогресса в английской жизни.

¹⁶ Английский экономист и священник Т. Р. Мальтус (1766—1834) в своем труде «Опыт о законе населения» (1798) доказывал, что бедность является следствием постоянно возрастающего

несоответствия между средствами существования и численностью населения, и призывал принять меры для урегулирования размножения человечества.

¹⁷ *Сволока* — деталь ручного ткацкого станка.

¹⁸ А. Гергей (1818—1916), главнокомандующий венгерской армией во время революции 1848—1849 гг., в августе 1849 г. капитулировал перед русскими войсками, посланными Николаем I для подавления революции, заявив при этом, что он предпочитает сдаться скорее России, чем Австрии.

¹⁹ Романы Н. А. Чаева (1824—1914) *«Богатыри»* из времен Павла I и *«Пугачевцы»* графа Салиаса де Турнемир (1840—1908, печатался под фамилией *Салиас*) были опубликованы в 1873 г.

²⁰ *...Скабичевский... далеко не вполне измерил глубину различия между «Войной и миром»... и «Пугачевцами» и «Богатырями»...* — В статье «Литературные противоречия» (Отч. зап. 1874. № 3) А. М. Скабичевский писал: «Гг. Салиас и Чаев сумели вполне отрешиться от собственных физиономий: их самих вы тщетно будете искать в романах, вы найдете в них вездесущее присутствие одной только личности — гр. Толстого, у которого романисты взяли все, что только можно взять, — характеры, сцены, мотивы, философию...» (С. 22).

²¹ Имеется в виду программная формула министра народного просвещения с 1833 по 1849 гг. С. С. Уварова (1786—1855). В «Циркулярном предложении управляющего министерством народного просвещения Уварова по поводу вступления его в управление министерством» говорилось: «Общая наша обязанность состоит в том, что народное образование, согласно с высочайшим намерением августейшего монарха, совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности».

²² *...Страхов... старался доказать, что нигилизм есть одно из самых ярких выражений начал русского народного духа...* — Н. Н. Страхоб, в частности, писал, что «нигилизм Герцена есть одно из проявлений напряженной идеальности русского ума и сердца» (Страхоб Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1882. С. 122).

²³ *...если гр. Толстой исполнит приписываемое ему намерение написать роман из времен Петра Великого... он потщится свалить Петра с пьедестала как личность...* — 20 февраля 1873 г в петербургской газете «Биржа» появилось сообщение, перепечатанное на следующий день в «С -Петербургских ведомостях», о том, что Толстой «занят в настоящее время собиранием исторических материалов для нового романа с широко задуманным планом из времен императора Петра Великого». «Героем романа будет державный преобразователь России. До настоящего времени более двух третей материала уже собраны, а равно и написаны первые главы романа». Несмотря на большую подготовительную работу, Толстой романа о Петре I не написал.

В первоначальных набросках отношение к Петру I благоприятное, позднее Толстой чаще оценивал его личность отрицательно. Об этом см: Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963. С. 114—117, 127—132.

²⁴ В. А. *Полетит* (1820—1888) — инженер, владелец сталелитейного завода, издатель газет «Биржевые ведомости», «Молва». А. В. Никитенко писал, что он говорил «очень легко, живо и умно» (Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 2. С. 476).

²⁵ ...о тех межеумках, которые получили название «почвенников», — умалчиваю о головоногих «Гражданина». — Идеологи почвенничества Ф. М. Достоевский, А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов обвиняли Н. А. Добролюбова и Н. Г. Чернышевского в «кабинетном» теоретизировании, незнании народа, в стремлении обнаружить в русском крестьянстве готовность к революции. Совпадая во многом со славянофилами, «почвенники» не отрицали целиком и западничества. С начала 1873 г. по апрель 1874 г. Достоевский редактировал политическую и литературную газету-журнал «Гражданин», основанную в 1872 г. князем В. П. Мещерским, в критико-библиографическом отделе которого сотрудничал Н. Н. Страхов. Руководители «Отечественных записок» Салтыков-Щедрин и Михайловский резко критически относились к идеологической позиции «Гражданина».

²⁶ ...назвал Ренана французским славянофилом. А Ренан смотрит на вещи так... — такую характеристику Н. Н. Страхов дал Э. Ренану в статье 1872 г. «Ренан». Приведенные ниже высказывания Ренана Михайловский цитирует по этой же статье. См.: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1882. С. 290, 277.

²⁷ ...Страхов... преклоняет колена перед г. Н. Данилевским... — Н. Н. Страхов высоко ценил исследование участника кружка Петрашевского, ученого, публициста и философа, близкого к славянофильству и почвенничеству, Н. Я. Данилевского (1822—1885) «Россия и Европа», вышедшее отдельной книгой в Петербурге в 1871 г. К этому изданию Страхов написал предисловие. Об отношении Страхова к Данилевскому Михайловский писал: «Г-н Страхов... ухватился обеими руками за грошовые положения г. Данилевского. Это для него какая-то манна, которой он ждал, сорок лет странствуя в пустыне. Идет ли речь о Дарвине, г. Страхов пишет: эта сторона учения Дарвина блистательно объяснена в книге Н. Я. Данилевского. Идет ли речь о Ренане — г. Страхов замечает: можно подумать, что Ренан только прочел книгу Н. Я. Данилевского» (Михайловский Н. К, Т. 1. С. 724).

²⁸ На гнилом западе мало ли что делается. — Михайловский иронизирует над ставшим широко распространенным благодаря славянофилам мнением о «загнивающем западе», которое поддерживал и Н. Я. Данилевский, писавший: «Сама мысль, высказанная славяно-

филами о гниении Запада, кажется мне совершенно верною...» (Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1871. С. 75).

²⁹ Михайловский имеет в виду статьи писателя и публициста, автора «антинигилистических романов» В. Г. Авсеенко (1842—1913) об «Анне Карениной» в ежедневной общественно-политической и литературной газете «Русский мир», издававшейся в Петербурге с 1871 по 1880 г., где, в частности, говорилось: «Отличительная черта таланта гр. Л. Толстого... заключается именно в том, что он умеет находить этих людей, сохраняющих среди новых общественных наслоений лучшие предания старого культурного общества» (1875. № 34). «Эта обособившаяся жизнь, чуждая интересов и волнений толпы, кажется большинству современных читателей совершенно бессодержательною и пошлою. На самом деле она, конечно, не такова. ...Вся прелесть жизни сводится к сохранению ее прежних очарований, к поддержанию живучести преданий» (1875. № 69).

³⁰ ...«науки, им ослушной, суеты и пустоты!»— из стих. Е. А. Баратынского «Последний поэт» (1835). У Баратынского: «Воспевает, простодушный, /Он любовь и красоту, /И науки, им ослушной, /Пустоту и суету».

³¹ Подробно о выступлениях названных педагогов с точным указанием их статей Михайловский писал во 2-м разделе «Записок профана» «Буря в стакане педагогической воды» (Михайловский Н. К. Т. III. С. 294—330).

³² ...«птенцов гнезда Каткова»...— иронически переосмысленная строка из поэмы Пушкина «Полтава» «птенцы гнезда Петрова».

³³ Книга общественного деятеля, публициста и педагога Н. А. Корфа (1834—1883) «*Наш друг*. Книга для чтения учащихся в школе и дома и руководство для обучения родному языку» впервые вышла в 1872 г., а затем многократно переиздавалась. Из четвертого издания (СПб., 1876) Корф изъял главы, которые критиковал А. А. Цветков.

³⁴ Михайловский цитирует один из предлагаемых для детского чтения текстов из книги И. Д. Белова «Сборник статей и материалов для бесед и занятий дома и в детском саду, для чтения в гимназиях, учебных семинариях и городских училищах» (СПб., 1873. С. 36).

³⁵ Михайловский иронизирует над методом наглядного обучения, одним из сторонников которого был известный педагог Н. Ф. Бунаков (1837—1904), и предлагаемыми им в качестве примера вопросами ученикам, частично процитированными в статье Толстого «О народном образовании».

³⁶ Имеется в виду статья Е. Л. Маркова «Софисты XIX века» о «нравственном достоинстве адвокатуры» (Голос. 1875. 5 и 6 апр.).

³⁷ Слова Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума» (д. 2, явл. 4).

³⁸ В Евангелии лицемеры сравниваются с «*гробами повапленными*», то есть раскрашенными, которые «снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Матф., 23: 27).

³⁹ ...*Мальбругу-Маркову не стоило бы в поход ехать...*— намек на популярную французскую шуточную песню «Мальбруг в поход собрался...», названную по имени ее героя английского герцога Мальборо, которую, по воспоминаниям современников, любил напевать Наполеон.

⁴⁰ «*Мы все, вверху стоящие...*» — неточная цитата из стих. А. Н. Майкова «Вопрос» (1874), входящего в цикл «Вечные вопросы». У Майкова: «Мы все, хранители огня на алтаре, /Вверху стоящие, что город на горе, /Дабы всем виден был!»

⁴¹ *Если бы вы были чем-нибудь вроде г. Скальковского...*— Михайловский неоднократно полемизировал с инженером, секретарем Общества для содержания русской промышленности и торговли, путешественником и публицистом К. А. Скальковским (1843—1905), в частности по поводу его писем с Московской политехнической выставки (Отеч. зап. 1872. № 8), упрекая его в непоследовательности и противоречивости.

⁴² Автор статьи, этнограф, археолог и писатель Н. М. Ядринцев (1842—1894), пересказывал мысль автора книги «Наследственность таланта, ее законы и последствия» (1869) английского психолога и антрополога Ф. Гальтона (1822—1911).

⁴³ ...*те немногие, которые об этом знают...*— цитата из первой части «Фауста» Гете.

⁴⁴ Имеется в виду картина А. А. Иванова «Явление Христа народу».

⁴⁵ ...*Писарев доказывал, что Шекспир неразвит, потому что верит в привидения, и что Щедрин неразвит, потому что не занимается популяризацией естественных наук...*— В статье «Мотивы русской драмы» (1864) Писарев писал, что «средневековым людям, и даже Шекспиру, было еще извинительно принимать большие человеческие глупости за великие явления природы». В статье «Цветы невинного юмора» (1864) он указывал Щедрину: «Если бы Добролюбов был жив... он посвятил бы лучшую часть своего таланта на популяризирование европейских идей естествознания и антропологии... но г. Щедрин, разумеется, этого не понимает... И потому еще раз скажу г. Щедрину: пусть читает, размышляет, переводит, компилирует, и тогда он будет действительно полезным писателем».

⁴⁶ ...*я согласен и с гр. Орловым-Давыдовым, что наше сельское хозяйство подлежит развитию.*— Михайловский имеет в виду точку зрения юриста, публициста, предводителя дворянства Петербургской губернии В. П. Орлова-Давыдова (1809—1882), высказанную им, в частности, в статье «Земледелие и землевладение» (Вестн. Европы.

1873 № 6), с которой он резко полемизировал в «Письме к графу В. Орлову-Давыдову» (Отеч. зап. 1873 № 9)

⁴⁷ ...автор с комической серьезностью уверяет, что он впервые разоблачает с этой стороны «Войну и мир» — Автор статьи (возможно, им был П. Ткачев) писал «Если бы наша критика была несколько попроницательнее и посмелее, она увидела бы очень ясно, что в шести томах великой и «вековечной» эпопеи гр Толстой с настойчивой развязностью старается доказать, что так называемая гражданская деятельность, так называемые политические стремления, предпринимаемые во имя принципа цивилизации, в сущности представляют при зрачный вздор...» (Дело, 1875. № 5 С. 24).

⁴⁸ ...«сильной и плодovitой самки» Наташи Безуховой — В X главе первой части Эпилога романа «Война и мир» о Наташе говорится, что в ней была видна «сильная, красивая и плодovitая самка»

⁴⁹ *Фребелевские сады* — Немецкий педагог Ф. Фребель (1782—1852) выдвинул идею организации детских садов и разработал методику преподавания в них.

⁵⁰ *Конттовой классификацией наук* — Французский философ, основоположник позитивизма О. Конт (1798—1857) в соответствии с принципом возрастания сложности предложил следующую группировку всех наук 1) математика, 2) астрономия, 3) физика, 4) химия, 5) биология, 6) социология.

⁵¹ Книга историка и юриста М Ф *Владимирского-Буданова* (1838—1916) вышла в Ярославле в 1874 г.

⁵² Ф. И. *Янкович де Мириево* (1741—1814), педагог, серб по происхождению, в 1782 г был приглашен в Россию как крупный специалист по народному образованию. Под его руководством был разработан план школьной реформы, принятый по уставу 1786 г., автор «Руководства учителям первых и вторых классов народных училищ» (1783) и других пособий.

⁵³ ...по схеме *Крыжанича* — Имеется в виду система историка, хорвата по происхождению, Ю. Крыжанича (1617—1683), изложенная им в сочинении «Политика», изданном в Петербурге в 1860 г. Михайловский пересказывает ее по книге Владимирского-Буданова.

⁵⁴ Рецензия историка и юриста И. Е. *Андреевского* (1831—1891) опубликована в первом «Сборнике государственных знаний» за 1874 г., выходившем ежегодно до 1880 г.

⁵⁵ Труд немецкого естествоиспытателя Э. *Геккеля* (1834—1919) «Общая морфология организмов» (1866) Михайловский читал в подлиннике.

⁵⁶ «*Солдаткино житье*» — О том, как был написан этот рассказ, впервые опубликованный в «Ясной Поляне» (1862 № 9), см. «Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы» В. С. Морозова (1848—1912), названного в статье Толстого «Федькой» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников М. 1978 Т. 1 С. 147—148)

⁸¹ ...одна из нещербных критиков гр. Толстого...— Цитируемая статья «По поводу нового романа графа Толстого» была подписана инициалом «А» и принадлежала писателю и критику В. Г. Аясенко (1842—1913).

⁸² «У меня четырнадцать праведов крестьян...»— Это высказывание французского социолога П. Ж. Прудона (1809—1865) приводится в книге Ю. Жуковского «Прудон и Луи Блан» (СПб., 1866. С. 1). Михайловский также высоко отзывался о биографии Прудона, написанной Сент-Бёвом.

⁸³ *Франциска Венецианка* — «История о храбром рыцаре Франциске Венециане и о прекрасной королеве Ренцивене», произведение лубочной литературы на сюжет западно-европейского рыцарского романа, написанное А. Филипповым (М., 1787) и затем многократно переиздававшееся.

⁸⁴ В. И. Водовозов (1825—1886) был автором многих методических пособий и практических руководств по педагогике: «Словесность в образах и разборах» (СПб., 1868); «Книга для первоначального чтения в народных школах» (СПб., 1871); «Книга для учителей» (1871) и др. Подробнее о нем см. вступительную статью В. С. Аранского «Педагогическая деятельность и педагогические взгляды В. И. Водовозова» в кн.: *Водовозов В. И. Избранные педагогические сочинения*. М., 1986.

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Аверин. Социологическая критика Н. К. Михайловского . . . 3

СТАТЬИ 1875–1901

ДЕСНИЦА И ШУЙЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО.	34
ЖЕСТОКИЙ ТАЛАНТ.	153
О ТУРГЕНЕВЕ	235
О ВСЕВОЛОДЕ ГАРШИНЕ	259
ЕЩЕ О ГАРШИНЕ И О ДРУГИХ.	283
Г. И. УСПЕНСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК.	289
ГЕРОЙ БЕЗВРЕМЕНЬЯ	402
РУССКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СИМВОЛИЗМА	449
ЕЩЕ О Г. МАКСИМЕ ГОРЬКОМ И ЕГО ГЕРОЯХ.	477
КОЕ-ЧТО О Г. ЧЕХОВЕ	516
«РАССКАЗЫ» ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. СТРАХ ЖИЗНИ И СТРАХ СМЕРТИ.	541
Примечания.	559
Именной указатель	599
Список иллюстраций.	605

Михайловский Н. К.

М69 Литературная критика: Статьи о русской литературе XIX—начала XX века/Сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. Б. Аверина.—Л.: Худож. лит., 1989—608 с, 1 л. портр.; ил. (Русская литературная критика).

ISBN 5—280—00391—3

Секрет популярности и редкого «литературного долголетия» Н. К. Михайловского (1842—1904) объясняется глубиной и оригинальностью его мышления. Статьи о крупнейших русских писателях XIX в.: Л. Толстом, Ф. Достоевском, И. Тургеневе, М. Лермонтове — были частью темпераментных выступлений известного социолога и публициста в демократической журналистике. Многие из включенных в сборник статей публикуются в советское время впервые.

М $\frac{4603010101-056}{028(01)-89}$ 223—88

ББК 83.3 Р1

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Статьи

*о русской литературе
XIX — начала XX века*

Составитель

Борис Валентинович Аверин

Редактор *А. Шелаева*

Художественный редактор *В. Лужин*

Технический редактор *Н. Литвина*

Корректоры *М. Зимина, Г. Щеголева*

ИБ № 5144

Сдано в набор 02.06.88. Подписано в печать 23.12.88 Формат 84 X Ю8'/32. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Уел печ. л. 31,92 + 0,05 вкл. + 0,84 альбом = 32,81 Усл. кр.-отт 33,70. Уч.-изд. л. 34,41 + 1 вкл.+альбом = 35,13. Тираж 25 000 экз. Изд № ЛГХ—171. Заказ № 1600. Цена 2 р. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15